

ЭМИЛИАН СТАНЕВ

ЧЕРНУШКА



Издательство «Детская литература»

Цена 45 коп.





10/2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ЭМИЛИАН СТАНЕВ

ЧЕРНУШКА

ПОВЕСТИ

Перевод с болгарского



ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
МОСКВА · 1971

Эмилиан Станев — крупнейший болгарский писатель, чьи романы и повести переведены на многие языки. Он хорошо известен взрослому советскому читателю.

Теперь с ним познакомится и юный советский читатель, кому адресованы две повести писателя в книге «Чернушка». Это повести о животных. Но это не просто повести о животных, а подлинные поэмы об их жизни, подчас трагической и суровой, об их повадках, об их отношениях с человеком. Эмилиан Станев в этих повестях — реалист, мужественный, трезвый, бескомпромиссный. И поэт, Поэт тончайший, без всякой сентиментальности.

Прочитав эти повести, юный читатель приоткроет для себя тот сложный мир природы, который его окружает.

Перевод с болгарского
Н. ГЛЕН и О. КУТАСОВОЙ

Рисунки Т. ШИШМАРЕВОЙ



ЧЕРНУШКА

1

Старая лиса следила за каждым движением своего пяти-мёсячного лисенка, но делала вид, что спит.

Лисенок сидел на тропинке. Время от времени он поднимал свои бархатные черные ушки, слишком большие для его маленькой головы, и вслушивался в перебранку соек в дубовой роще. Лисенок крутился здесь с самого полудня, лишь только солнце осветило всю вырубку, ложился, вставал, вывешивал язык и поскуливал, как потерявший хозяина щенок.

Лису это совершенно не трогало. Она продолжала лежать, равнодушно прикрыв глаза, но сквозь черные щелки проглядывали желто-зеленые зрачки. Солнечный луч, пробившись между скалами, освещал ее белое брюхо.

Несколько дней назад у нее было пятеро лисят, но она прогнала их прочь, и теперь они бродили по ущелью. Одип только этот лисенок не желал уходить, хотя мать дала ему понять, что его присутствие ее раздражает. Материнский инстинкт угас в ней. Она снова начала толстеть, летняя шерсть вылезла, зимняя буйно росла, а вылинявший хвост покрывался новой рыжеватой шерстью.

Целыми днями лиса лежала под скалами, покрытыми зеленым плющом, желтым лишаем и молодыми осинками, раньше времени загоревшимися багряным цветом. Лето кончалось, и пищи было вдоволь; по ночам лиса досыта наедалась прелыми и сладкими дикими грушами, ягодами боярышника и диким виноградом, оплетавшим, как веревкой, ветви деревьев. Порой ей удавалось поймать зайчонка, птицу или мышь, и утром она возвращалась домой довольная и сытая, мокрая от росы, охваченная ленивой истомой и безразличием ко всему.

В эти послеполуденные часы она погружалась в сладостную дрему. Солнце приятно припекало, в примолкшем лесу стояла тишина, река пенилась на дне ущелья, и ее ровный рокот убаюкивал. Не будь на тропинке этого упрямого и глупого лисенка, мать погрузилась бы в блаженный сон.

Лисенку надоело стоять на одном месте, он повернулся, чтобы лечь, но, снова увидев мать, нерешительно пошел к ней. Всем своим видом он молил о прощении. Красивые глаза, желтые, как янтарь, словно говорили: «Почему ты меня гонишь и кусаешь? Что я тебе сделал?»

Лисенок подошел так близко, что почувствовал запах матери, и в нем снова проснулась надежда: может быть, на этот раз мать примет его, не заворчит, не укусит? Тогда он ляжет возле нее и поиграет ее хвостом, как он это делал всего несколько дней назад.

Почти уверенный в том, что все так и будет, он потянулся лизнуть продолговатую морду матери. Но в то же мгновение лиса подпрыгнула, как на пружине. Лисенок бросился бежать. Шерсть на его спинке встала дыбом. Он старался увернуться от оскаленной пасти матери, а она злобно ворчала и кусала его. Мать гнала лисенка через всю вырубку до большого плоского камня, где лисенок беспомощно повалился на спину. Лиса нависла над ним, оскалив свои белые и острые, как шило, зубы и долго смотрела на свое дитя горящими от ненависти глазами. Это означало: «Не смей подходить ко мне! Этот лес мой, и тебе

здесь делать нечего! Отныне я тебе не мать и знать тебя не желаю!»

Когда мать скрылась в подлеске, лисенок встал и, даже не отряхнувшись, грустно поглядел на родные скалы. Путь туда был ему заказан, и он печально потрусил к дубовой роще в глубине дола.

Это была лисичка, и очень мелкая. мех у нее был серо-черный с зеленовато-бурым отливом, а грудь и брюшко — серые, почти свинцовые. Обычно кончик хвоста у лисиц белый и заостренный, особенно у тех, что живут в горах, а у нее был тупой, без единого белого волоска и выглядел курым и каким-то незаконченным. Но зато глаза были редкой красоты и необыкновенно выразительные. Они блестели, как перламутр, а когда свет падал прямо па зрачки, казалось, что они из прозрачного янтаря, в котором проглядывают бесчисленные прожилки. Даже и сейчас глаза лисички не утратили своей живости и ясности. Красноватые брови под широким выпуклым лбом и тонкая острая мордочка еще больше усиливали это присущее только лисам постоянное жизнерадостно-лукавое выражение. Лисичка ходила мелкими бесшумными шажками, грациозно ставя свои черные лапки на одну линию, так что все ее тело раскачивалось в такт шагам, как раскачивается тонкий, гибкий прут в руках бегущего человека.

Добравшись до высокого леса, лисичка почувствовала, как из тенистой ложбины пахнуло холодом и влагой. Лес был полон солнечных капель и серых теней. Раздавалось басовитое жужжание шершней, вылетевших из дупла на дубе, легкая дробь дятла.

С одного дерева крикнула сойка. Лисичка залегла, но было уже поздно — птица ее увидела.

Сойка крикнула еще раз, уверенней, и уже не умолкала. Выкрики ее хотя и были все похожи друг на друга: «Кра-а! Кра-а!», однако для острого слуха лисички они не были одинаковыми. Она понимала язык соек не хуже, чем они сами понимали друг друга. Крики эти значили: «Лиса! Осторожно! Все сюда!»

Лисичка попробовала спрятаться и вошла в лес, но сойка, перелетая с дерева на дерево, не выпускала ее из виду. Блестящий бархатистый хвост птицы все время вздрагивал, хохолок на голове вздыбился. С противоположного склона ложбины отозвалась другая сойка. За ней мирную тишину леса наруши-

ла ореховка своим неприятным криком, напоминающим таракание погремущие.

Лисичка все дальше углублялась в лес, но птицы следовали за ней, перелетая с ветки на ветку и стряхивая вниз желуди, которые падали возле нее и пугали. Наконец она скрылась с глаз своих преследователей, спрятавшись за кизилевым деревом.

2

Пока не стемнело, она лежала под кизилом, свернувшись клубочком, — в ложбине было холодно.

Хорошо бы поспать, но ее мучили воспоминания о матери, незнакомые запахи и звуки вселяли тревогу. Совсем близко шелестела хвостом белка, в ущелье скрипели колеса телег и громыхали грузовики. В ложбине все звуки усиливались и держали лисичку настороже.

Тем временем все ущелье погрузилось в тень. Лишь вершины противоположного склона были еще освещены солнцем. По крутой луговине спускалось стадо коров. Бренчали колокольчики, животные белели, как огромные валуны, которые несет поток. Надвигался мирный августовский вечер. Небо очистилось, горизонт окрасился в розовый цвет, и орел закружил над одной из скалистых вершин по ту сторону долины, где он почевал.

Лисичка оставила свою лежку и затрусила по тому же пути, по какому пришла сюда. За дубовой рощей находились поля, где они обычно мышковали с матерью и братьями.

Когда она вышла на небольшую равнину, солома на стерне заблестела при свете звезд, а цикады запели еще громче. Лисичка притаилась на меже в ожидании тихого мышинного писка. В это время года мыши бегали по полям, делая зимние припасы. От матери она выучилась всем правилам этой охоты.

За высокой межой, обросшей терном, она услышала легкий шум и тут же увидела мышшь. Словно шарик, мышшь покатила и растворилась в сумерках. Лисичка поняла, что мышшь ее заметила. Она легла на межу, наострила уши и впила глазами в стерню.

Лес почернел и поднялся глухой стеной. Осыпанное звездами небо открыло свой глубокий свод. В долине крикнула сова, встревоженный дрозд засвистел на опушке леса.



Лисичка терпеливо ждала. Мышь снова появилась. Она бежала к меже, напуганная совиным криком. Лисичка прыгнула, распушив хвост по воздуху, и мышь заверещала в ее лапах...

Проглотив добычу, она облизнулась и вильнула хвостом, как делают кошки, когда они радостно взволнованы. Она обнюхала межу, обнаружила мышиную норку и попробовала ее разрыть.

Земля была сухая и неподатливая, но лисичка рыла со всем усердием. Наконец она добралась до норки, устланной соломой и мохом. В ней лежало шесть голых мышат.

Лисичка не торопясь съела их, вспрыгнула на межу и пошла по ее краю.

Межа чернела посреди светлой стерни; в конце ее росли кусты ежевики, развесистые и черные.

Она уже приближалась к кустам, как в шею ей вонзились зубы матери. Лисичка вырвалась и бросилась бежать в поле. На этот раз мать преследовала ее особенно яростно. Она догоняла ее и жестоко кусала. Лисичка взвизгивала и в свою очередь пыталась укунить мать...

Это продолжалось и на вырубке, где лисичка надеялась, что мать оставит ее в покое. Однако старая лиса гнала ее до самой реки. Первый раз в жизни лисичка увидела сверкающую, бурлящую воду, которая образовывала пороги и омуты среди

больших камней и скал. Вода смутила ее, но запах тины и лягушек, попрыгавших в воду, пробудили в ней любопытство.

Облизав раны, она пошла против течения. На другом берегу реки поднималась насыпь шоссе. Лисичка часто бросала туда боязливые взгляды. У самого берега шевельнулась какая-то тень, и на гладкой поверхности воды отразился силуэт другой лисички.

Лисичка узнала в ней свою сестру и решила убежать в лес, но сестра погнала ее по берегу. Рана на шее болела, лисичка чувствовала себя совсем измученной и снова вступать в борьбу не хотела. Поняв, что ее вот-вот настигнут, она бросилась в реку, перешла ее вброд и выскочила на другой берег. Сестра вынудила ее перейти шоссе и подняться в лес над ним.

Лисичка очутилась на тропинке, вившейся среди низких кустов терновника и боярышника. Она села на тропу и хрипло затыкала, словно жалуясь на жестокосердие своих сородичей. Отсюда была видна вся противоположная сторона ущелья, ее родные места — темные леса, высокие горы с крутыми склонами и скалами, над которыми мерждали звезды.

Тропа вывела ее на маленькую полянку, заросшую папоротником. На ней еще пахло козами — они паслись здесь днем. Где-то неподалеку скакал заяц, глухо топоча лапами. Поблизости шуршал еж, листок дрожал от легкого ночного ветерка.

Лисичка пересекла полянку, снова вошла в лес и побежала по какой-то дороге. Тут и там светлели просеки, мелькали одиноко стоявшие высокие деревья. Лес окончился внезапно, и лисичка очутилась на округлой, как бочка, горе, поросшей кустарником и высокой желтой травой. Не решаясь отдаляться от леса, она села на опушке и осмотрелась. На излучине шоссе светились два оконца сторожки дорожного мастера. Возле каменного строения смутно темнели две пристройки.

Лисичка долго смотрела на освещенные окна, словно пыталась понять, что означает этот свет. Над самой ее головой пролетела птица, мурлыкнула по-кошачьи и исчезла в темноте. Окна разожгли ее любопытство: они напоминали ей глаза неведомого зверя. Оттуда донесся вдруг человеческий голос. Дорожный мастер Панталей Фокасинов кого-то бранил. Потом голос умолк, но минуту спустя раздался снова. На этот раз мастер пел:

— Э-ге-гей! Гей-ге-ге-гей!

Это было хоро¹, которое он напевал обычно, вернувшись из соседнего села, где была корчма.

Лисичка слушала. Пение ее не пугало. Однако, допев до конца, Фокасинов начал дико орать:

— У-у-у-у, ату, ату!..

Заснувшее эхо трижды повторило его страшный вопль, подхваченный собачьим лаем.

Лисичка испугалась и в свою очередь затыкала. Свесив хвост, она пошла к лесу, из которого вышла. В эту минуту с горы поднялись с громким криком какие-то птицы. Одна из них села на опушке, и лисичка видела, как она прижалась к земле и затаилась.

Лисичка замерла, боясь неосторожным движением ее спугнуть. Потом поползла. Так она доползла до ложбинки, пересекла ее и снова увидела птицу, но до нее все еще было довольно далеко. Тогда лисичка решила ждать, надеясь, что птица сама приблизится к ней и она ее схватит.

Из-за зубчатых вершин ущелья показался молодой месяц. Желтели голые холмы, поросшие травой. Стали видны черные раны оползней. Под тусклым лунным светом засеребрился туман над рекой. Блеснула спинка птицы, и лисичка увидела ее глаз.

Неожиданно, без какой-либо видимой причины, птица полетела обратно к своему холму. Лисичка вздрогнула и опасливо оглянулась.

За ней стоял крупный лис. Вильнув своим великолепным хвостом, он дружески обнюхал морду лисички. В глазах его прыгали веселые искорки.

Лисичка осмелела и тоже робко лизнула его в нос. Этот жест означал полную покорность. Но лис и не проявлял никаких враждебных намерений, он продолжал самым дружеским образом обнюхивать ее, и лисичка, совсем расчувствовавшись, легла у его лап. Лис облизал рану на ее шее, и этого было достаточно, чтобы наполнить душу лисички чувством глубочайшей преданности. Знакомство завершилось веселой игрой. Собственно, играла лисичка, а лис терпеливо оборонялся. Но через минуту, не обращая больше внимания на лисичку, он двинулся к ближайшему холму. Лисичка побежала за ним.

¹ Хоро — болгарский массовый народный танец, часто сопровождающийся пением.

Они спустились по крутой тропке и, тщательно обнюхивая каждый куст, обнаружили место, где ночевали каменные куропатки. Здесь особенно сильно пахло птицами. Лисичка сунула нос в высокую траву. Хвост ее вытянулся, а спина выгнулась коромыслом...

Вдвоем они обошли холм, но от рассеявшейся стаи не осталось и следа.

Так они оказались за холмом, откуда была видна сторожка дорожного мастера. Там все еще кричал петух. Молодой петушок, который еще только учился петь, отвечал ему слабым голосом. Светало. Сороки ватараторили на деревьях вдоль шоссе, стая ворон, ночевавшая в скалах по другую сторону шоссе, шумно обсуждала какой-то важный вопрос.

Лис повел лисичку к пристройкам. Они перешли пустынное шоссе, обогнули сад и оказались на небольшой вырубке позади каменного дома. Туда выходила его северная стена, не имевшая окон. Только под крышей тускло поблескивало грязное оконце. Курятник находился рядом со свинарником, в котором тихо и нерешительно повизгивал проголодавшийся поросенок. К дому вела тропинка, усыпанная золой, опавшими листьями и всяким мусором. Фокасинов выбрасывал сюда все нечистоты. У края тропинки стоял деревянный сарай, и возле него темнела большая куча хвороста.

Лис направился к курятнику. Лисичка — за ним. Мятая, пожелтевшая гадета испугала их, и они обошли ее стороной. Подойдя к курятнику, лис пополз. Лисичка последовала его примеру. Куриный дух вызвал в ее памяти птиц, которых мать притаскивала в нору под скалами, и ее короткий, словно обрубленный, хвост беспокойно заходил по земле.

Курятник был сооружен из прутьев, местами сгнивших, и Фокасинов заделал дыры досочками и ржавой жостью. Но одна заплатка отстала. Лисичка сунулась туда мордочкой, и глаза ее впились в петуха: его медно-красное оперение потрясло ее воображение. Петух закукарекал, и на лисичку пахнуло теплым куриным духом. Она попробовала ткнуться головой в жестяную заплату и пробраться внутрь, но жость не поддавалась.

Тем временем лис был уже у дверей курятника. Лисичка видела, как он что-то там обнюхивает. Она подошла к нему и учуяла незнакомый запах, однако близость кур заставила ее забыть о всякой осторожности. Ей хотелось пролезть в дверь, однако дорогу загородил лис, и она не решалась идти вперед.

Неожиданно лис вернулся к стене и ткнул мордой в одну из жестяных заплат. Куры закудаhtали. Закричал петух. Перья и пыль заполнили курятник, через пробитую стену вылетели две курицы и петух. Лисичка прыгнула. Медно-красная птица была уже в ее лапах, когда вдруг что-то схватило ее и сильно ударило по шее. От удара она потеряла сознание, но скоро пришла в себя и услышала бешеный лай собаки, привязанной в задах дома, и оглушительное кудаhtанье переполошившихся кур.

Лисичка попробовала освободиться от мертвой хватки капкана, напрягла все силы, чтобы вырваться из тисков железа. Из дома раздался крик Фокасинова:

— Держи, Перко! Держи! Ату его, ату!

Собака зашла в заливистом лае, а Фокасинов все науськивал ее из дома, надевая штаны и пытаясь ногой нащупать под кроватью резиновые царвули¹, которые с вечера зашвырнул неизвестно куда. Наконец он нашел их, выскочил во двор в одной рубашке, схватил лопату, стоявшую у стены, и побежал к курятнику.

Увидев в капкане лису, он издал торжествующий вопль.

— Попалась, негодница! Вот я с тебя сейчас сдеру шкуру!

Он поднял лопату, и лисичка увидела грозный блеск в его глазах. Но Фокасинов взгляделся своими заплывшими глазами в зеренка и медленно опустил лопату.

— Так, — сказал он, не сводя взгляда с лисички. — Видишь, какое дело! Это не ты, батенька, не ты! Ты молоденькая и черненькая, точно вывалялась в угольной пыли. Та другая, совсем другая. — И, обернувшись к переположившимся курам, добавил властно: — Успокойся, куриный народ, враг ваш взят в плен!

Потом оперся на лопату, приложил большой палец ко рту и задумался. Глаза сосредоточенно смотрели на издыхающего лисенка.

— Да-а, это не ты, — повторил он, не отнимая пальца от рта. — Та рыжая и крупная. А твои-то глазки вот-вот погаснут, батенька.

Он отбросил лопату и скрылся в пристройке. Собака продолжала лаять, куры по-прежнему кудаhtали на куче хвоста, куда с перепугу взлетели.

¹ Ц а р в у л и (болг.) — крестьянская обувь типа лаптей, из сыромятной кожи или резины.

Зверек и впрямь умирал. Он почти не дышал, язык вывалился, и в него вонзились зубы — верный признак смерти. Он ничего не чувствовал и даже не шелохнулся, когда Фокасинов падал ему на шею толстую и тяжелую цепь. Человек наступил на пружину капкана, навалился на нее всей своей тяжестью и освободил лисенка, который остался лежать распростертый у его ног.

— Ба, да ты и впрямь вроде отдал богу душу, — сказал он задумчиво. — Кто тебя просил приходить сюда? Верно, мать привела учить, как красть кур. Пусть теперь отвечает, ее грех!

Он дотащил лисенка до кучи хвороста и привязал свободный конец цепи к стволу сливового дерева.

Было рано, и шоссе пустовало. Серая пелена застилала небо, скрывая восход солнца. День обещал быть пасмурным, но воздух был теплым, и от притихшей земли исходило тепло, накопившееся в жаркие летние дни. В такие рассветы, глядя на бескрайние безмолвные леса, слушая рев реки, Фокасинов становился рассеянным и печальным. Вернувшись в побеленную комнату сторожки, где царил страшный беспорядок, он долго чесал затылок, в голове мельтешили самые разные мысли и воспоминания. С похмелья болела голова, было не по себе. Он почти позабыл про лисенка, вытащил воды из колодца и принялся не спеша, с наслаждением умываться, надеясь, что от этого ему станет легче. Он долго плескался и фыркал и наконец, прибодрившись и немного повеселев, начал вытираться полотенцем сомнительной чистоты и мурлыкать себе под нос.

— Ну, народ, — весело сказал он, — доброе утро! — Это отнеслось к собаке, курам, поросенку и пестрому коту, который терся о его ноги, поднимая трубой белый хвост.

Надев куртку и накрыв фуражкой свою кудрявую голову, Фокасинов вспомнил о лисенке и пошел на него взглянуть.

«Хоть шкуру сдеру, все денег стоит. Сколько цыпят сожрали у меня эти дьяволы!» — подумал он.

Но лисенка не было там, где он его оставил. Фокасинов увидел цепь, взгляд его пошел за ней, и, заглянув под хворост, он нашел своего пленника целым и невредимым. Лисенок смотрел на него из-под черных сучьев.

— Ох, душа твоя кошачья, воскрес! — обрадованно воскликнул дорожный мастер.

Но тут же Фокасинов задумался:

— На кой ляд ты мне сдался? Теперь еще и о тебе заботься. Чем я буду тебя кормить?

Он сел на колоду, откуда можно было смотреть зверьку прямо в глаза, и так как пуще всего на свете любил поговорить и пофилософствовать, немедленно пустился разглагольствовать.

— Ну,— сказал он,— черненькая, что же мне с тобой делать? Глаза у тебя красивые. Хитрые, но симпатичные... Черненькая, черненькая... Чернушка! До чего же красивое имя я тебе придумал! Очень даже красивое... Придется пощадить тебя. Какой-то разбойник из твоих родственничков унес у меня пятнадцать цыплят. И ты бы тоже не отказалась, попадись они тебе в лапы... А когда ты вырастешь, что я с тобой буду делать? Тогда придется тебя отпустить на свободу. И отпущу. Приручу вот тебя да еще отучу есть кур. Попробую облагородить твой характер. Убить тебя я уже не могу, Чернушка! Раз я тебя один раз пощадил, душа теперь не позволит убить. Так уж устроено человеческое сердце! И, ударив себя в грудь, продолжал: — Чудеса да и только! Почему я тебя не трахнул лопатой? А теперь вот не было печали, еще одна живая душа свалилась на мою голову. Вот где вы все у меня сидите! — закончил Фокасинов, сняв фуражку и показав на свою шею.

Лисичка смотрела на него не мигая, вздрагивая всем телом, когда Фокасинов делал какой-нибудь энергичный жест. Она слушала внимательно и, готовая решительно ко всему, ждала, что последует дальше. Внезапно Фокасинов встал, надел фуражку и пошел к сторожке, задумчивый и растроганный собственным красноречием.

Спустя несколько минут он накормил поросенка, бросил зерна курам, которые держались подальше от хвороста, где затаился лисенок, и, взяв лопату, отправился поправлять обочины шоссе.

3

Первые два дня Чернушка провела в непрерывных попытках перегрызть толстую цепь. Особенно ночью, когда все стихало, ею овладевал неудержимый порыв к свободе, и, охваченная безумной надеждой, она упрямо грызла железные кольца. Темные леса звали ее, река нашептывала ей о том же — все ночные звуки говорили об отнятой свободе.

Ржавая когда-то цепь сейчас блестела, отполированная ее

зубами. Цепь брэнчала, и тонкий слух лисы улавливал с необыкновенной ясностью громкий звон металла. Звон этот вначале вызывал в ней страх, потом ненависть, и наконец, когда она поняла, что цепь ей не перегрызть, стал безразличен. Она оставила попытки освободиться от цепи, смирилась и зажила своей жизнью, чужая для всего двора.

Каждый день собака налетала на нее, норовя ее загрызть. Чернушка забиралась глубоко под хворост и, обезопасив таким образом спину и бока, храбро встречала ее зубами и когтями. После третьей стычки, когда Перко вылез с испарпанной мордой и разорванным ухом, он оставил Чернушку в покое. Теперь он лишь позволял себе иногда попутать ее. Это была ужасно безобразная собака, помесь овчарки и простой дворняжки. У нее были кривые лапы, жесткая шерсть и желтые глаза под щетинистыми бровями. Она была грязно-серого цвета, хвост крючком, одно ухо висело, а другое торчало вверх и напоминало стручок перца. Однако Фокасинов гордился своим метисом.

— Перко? — говорил он возчикам, издевавшимся над собакой. — Перко не красавец, но у него храброе сердце. Когда-нибудь он задерет волка.

Часто сюда приходил и кот. Увидев лису, он выгибал спину и шипел. Глаза его горели дикой ненавистью. Кота Чернушка совсем не боялась. Она одинаково презирала и Перко и кота. к Фокасинову она уже привыкла. Пугалась только, когда он, по своему обыкновению, кричал: «У-у-у, ату, ату-у!», или когда гремел капканом, устанавливая его перед курятником. Тогда Чернушка забивалась глубоко под хворост, где сделала себе нору, и оттуда прислушивалась, как Фокасинов громко сопит и ворчит, оттягивая пружину. Дав ей еды — что придется, — он сидел возле нее несколько минут, смотрел, как она ест, и все это время ораторствовал. Почти всегда речь его заканчивалась так:

— Ты, Чернушка, член моего семейства и имеешь полное право у меня кормиться. Я вас всех здесь содержу. В конце концов я брошу сторожку, потому что у меня уже целый зверинец. А я ваш директор. Милости просим, уважаемые граждане, полюбуйте! Директор Панталей Пандов Фокасинов!

Потом он уходил в дом читать газету или садился перед домом и пел. Он внушил себе, что он настоящий певец, и упивался своим сильным баритоном, который он, правда, считал



тенором. Пел он, приложив ладонь ко рту, так что пальцы доходили до уха. Таким образом он слушал себя. Председатель сельсовета соседнего села подарил ему хриплый патефон с несколькими пластинками. Фокасинов заводил патефон, который, прежде чем заиграть, скрипел и фырчал, и пел вместе с неизвестным певцом на пластинке. От этих дуэтов собака принималась выть, а кот убегал за дом и там терпеливо и презрительно жмурился, ожидая, когда концерт этот кончится.

Концерты происходили обыкновенно под вечер, когда Фокасинов возвращался с работы. В это время солнце садилось за горы, накрывавшие сторожку своей тенью. Вечера в сентябре стояли тихие, спокойные, теплые, временами высоко в небе дул северо-западный ветер, разгонявший облака, шумели вокруг леса, на липах кое-где уже появлялись желтые листочки. Река обмелела, вода стала прозрачной и открыла каменистое русло во всю его ширину. Шоссе покрылось белой пылью, запахло конским навозом. То и дело у сторожки останавливались

возчики, привлеченные хриплыми звуками патефона и вкусной колодезной водой во дворе.

— Эй, Фока, что это у тебя за музыка? Чего ты воешь, как баба на деревенском кладбище?— спрашивали они, слезая со своих нагруженных телег с кнутами в руках. Шагали они тяжело, широко расставляя ноги.

— Темные вы люди,— отвечал Фокасинов.— Тут, на этой пластинке, поет знаменитый певец, его весь мир слушает, а по-вашему выходит, он воет.

— Ей-богу, воет. Волки скоро сбегутся.

— Деревенщина!— презрительно махал рукой Фокасинов.— Так уж и быть, поставлю вам «Тодорке мама говорила».

Похваставшись патефоном, он показывал им Чернушку.

— На кой ляд она тебе? Убей ее!— говорили возчики, глядя на привязанного зверька с недобрый любопытством.

— Как так — убить? Ведь я же ее из капкана вытащил!— возмущался Фокасинов.

— Зачем она тебе?

— Приручу.

— Здорово! До сих пор еще никто не мог приручить лису. Дождись, когда мех выкунеет, и поленом по голове...

Дорожный мастер недовольно морщился:

— Бросьте! Я человек мягкий, музыку люблю. Как так — поленом по голове? Я ее на волю отпущу. А что? Пусть себе живет.

— Она будет жить, а ты без кур останешься.

— Глаза-то, глаза у нее погляди какие! Ох, заберется в курятник, держись тогда!— И возчики угрожающе замахивались своими кнутами на Чернушку, которая не мигая смотрела на них из-под кучи хвороста.

Накопец они уезжали, нагнав на Фокасинова тоску. Он шел к лисе и думал: «Может, и правда сделать так, как советовали возчики?» Потом он сажился на скамейку перед домом и вспоминал свою недавно умершую жену, с которой они прожили здесь всего несколько месяцев. Фокасинов был из городских, родился и вырос в соседнем городке и еще ребенком остался без отца и матери.

Вечера проходили тихо и печально. Фокасинов или рано укладывался спать, или отправлялся в сельскую корчму, позабыв накормить Чернушку.

Лиса не издавала ни звука. Как бы она ни была голодна,

она молчала, радуясь наступившей тишине. Ночи снова возвращали лису в ее мир, и, когда все засыпало, она вылезала из-под хвороста, садилась и жадно вслушивалась в лесные звуки. Выплывала полная сентябрьская луна — большая и багрово-красная. Освещенный лунным светом лес трепетал, отбрасывая черную тень. Над рекой клочьями полз туман, поблескивала водосточная труба под крышей, тень от дома накрывала пустой двор. Пели цикады, где-то поблизости попискивала мышь, уши Чернушки вставали торчком, а хвост начинал мести землю. Послушная инстинкту, она бросалась на мышь, но звякала цепь, одергивала ее, и лиса снова садилась на задние лапы и слушала. Тем временем луна поднималась совсем высоко, наступала полночь. Лунный свет мутнел. По двору задумчиво проходил пес и ложился спать перед дверью сторожки. Пригала лягушка, и Чернушка следила за ней горящими глазами.

В одну из таких ночей во двор проскользнул лис. Чернушка услышала его тихие шаги, но ничем не выдала своего присутствия. Лис подошел ближе и увидел ее. Чернушка взвизгнула, охваченная радостью и надеждой, однако ее приятель не отважился подойти к ней. Увидев цепь, на которую лисичка была привязана, он остановился шагах в десяти. Чернушка смотрела на него умоляющими глазами, дружелюбно виляла хвостом, звала его, но он по-прежнему глядел на нее с недоверием. Забыв о цепи, она рванулась к нему. Цепь загремела, и лис убежал в лес.

С той поры он перестал приходить к сторожке, и Фокасинов больше не ставил капкана.

4

Однажды ранним утром Чернушка первый раз услышала лай гончих. Такого лая ей еще приходилось слышать.

За рекой в густом лесу, окрашенном румяной зарей, раздавался залиvistый визг, постепенно переходящий в яростный лай. Эхо подхватило собачьи голоса, ударило их о скалы, и они слились в продолжительном отзвуке. Потом Чернушка четко различила голос одной гончей от тонкого дисканта другой. Гоньба сама собой пошла быстрее: лес огласился лаем, и по всему ущелью, по всем ложбинам и оврагам эхо разнесло пронзительный собачий лай.

Через несколько минут преследуемая дичь спустилась ниже. Лай разбудил Фокасинова и всполошил Перко.

— Видать, начали охоту,— громко сказал дорожный мастер, выйдя из сторожки в одной рубашке и почесывая спину.— Вот гонят! Это я понимаю! Заливаются колокольцем.

Восхищенный прекрасными гончими, он не выдержал и поддал свое: «У-у-у, ату, ату-у-у!»

На белое полотно дороги выскочила рыжая лиса. Лишь на миг сверкнула она своей великолепной шкурой и тут же исчезла по другую сторону шоссе. Фокасинов распалился, закричал что есть мочи, стукнул кулаком по ладони. Ему показалось, что именно эта лиса крада у него кур.

— Эх, только бы ее убили, только бы убили!— повторял он, ударяя в ладоши.

Лиса попробовала сбить собак со следа на шоссе, но не смогла и вернулась в лес.

Фокасинов сел на скамейку, решив дожидаться выстрела. Ждал долго, пытался отгадать, где лиса набежит на охотников. Взошло солнце, иней стал таять. Собаки смолкли. В ущелье воцарилась обычная тишина.

— Кончено дело, след потеряли!— с сожалением сказал Фокасинов и пошел на работу.

Чернушка все это время слушала гон. Своим тонким слухом она улавливала бешеную злобу гончих. В их неистовом лае была безграничная ненависть к преследуемому зверю. Пока лай не утих, Чернушка пряталась под сучьями. Хотя она и понятия не имела о том, что происходит в лесу, она знала, что этот лай означает смертельную опасность.

Фокасинов вернулся в три часа дня. Он трамбовал дорогу и страшно устал. Бросив лопату на траву, он принялся варить похлебку из помидор.

Перко залаял. Во двор сторожки вошли два охотника. Один из них, невысокий и круглолицый, в заячьей шапке, сдвинутой на затылок, вел на поводке тощую собаку с выступающим позвоночником, маленькой головкой и изогнутым, как сабля, хвостом. Она устало шла у ноги хозяина, семеня своими тонкими сбитыми лапами. Другой, совсем еще молодой человек, одетый по-городскому, был подпоясан красным патронташем и ружье свое нес по-солдатски, на плече.

— Здравствуй, Панталей!— поздоровался старший и поднес руку ко лбу.— Похлебку варишь? В самое время пришли.

— Здравствуй, Прихода,— неохотно ответил дорожный мастер и повернулся к гостям:— Где ваши зайцы?

— Нету. Собаки подняли одних лисиц. Много их в этом году. Столько просек обшарили, ни одного зайца не подняли,— сказал молодой.

— Зайцы по краю поля,— заметил Прихода.

— Хотя бы один попался — для затравки!

— Они по краю поля. Дядя Йордан в этих делах разбирается, никто только слушать не хочет! «Пойдем, говорит, на вырубку». Пастухи, видишь ли, сказали ему, что там зайцы кишмя кишат. Чушь!

— Да это точно, только сейчас слишком сухо,— сконфуженно пробормотал молодой.

— Позови Арапа!— приказал Прихода, приставив свою длинную двустволку к стволу сливы и сердито дернув гончую, вокруг которой, виляя хвостом, крутился метис.

Молодой человек позвал свою собаку:

— Арап, на, на, на!

— Чего же вы лису не убили?— спросил Фокасинов.— Я видел ее —на шоссе выходила. Хороша лиса, огневка!

— Шкура у них сейчас никудышная,— сказал Прихода и сел к очагу, скрестив ноги по-турецки. На босых ногах его были резиновые царвули.

— Хм, шкура! Да она у меня пятнадцать цыплят сожрала! Я уж решил, вы ее убьете, час целый ждал выстрела. Разве ж это дело!— рассердился дорожный мастер.

— То ли сожрала, то ли нет,— сказал Прихода, подняв левую бровь и озабоченно взглянув на свою гончую.

— Как — нет? Вру я, что ли?

— Кто тебе говорит, что врешь. Просто неизвестно, сожрала их эта лиса или другая. Здесь их по меньшей мере десяток.

— Что ж, я не видал ее? Тоже скажешь! Убей ее, вот тогда скажу тебе: молодец! Шкура, говоришь, никудышная. Поэтому и говоришь, что убить не можешь!

— Пантелей,— обиженно возразил Прихода,— я слов на ветер не бросаю. Спроси вот учителя, она ведь три раза на меня выбегала. Если бы я только захотел, я бы из нее решето сделал!

— Точно,— подтвердил молодой.

— Я-то радовался, что вы меня от нее избавите, а они — шкура никудышная!

— У каждого свой интерес, Панталей,— примирительно заключил Прихода, прикуривая сигарету от уголька.

Молодой человек сел возле него и положил ружье рядом.

— Шкура у лисы хороша только в ноябре. В остальное время — брак,— сказал он и лег на бок. Его серые веселые глаза тревожно шарили по шоссе, где осталась его собака.

— Брак — не брак, а я их живьем ловлю!— заявил Фокасинов.

— Кого ловишь?— заинтересовался Прихода.

— Пойди да посмотри.

Учитель приподнялся и бросил взгляд на кучу хвороста. Лисы не было видно, но молодой человек заметил цепь, один конец которой был привязан к дереву.

— Собаку держишь на цепи?— спросил он.

Фокасинов даже не взглянул на него, занятый стряпней.

— Иди, иди, погляди,— сказал он, не сводя глаз с кипящей воды, в которой плясали кусочки лука и помидоров.

Учитель встал, приложил руку козырьком ко лбу и напряг свои зоркие глаза.

— Ба!— воскликнул он удивленно.— Там что-то есть! Вроде лиса. Лиса,— обернулся он к Приходе.

Прихода вскочил, и они пошли смотреть лису.

Чернушка лежала, свернувшись в клубок. При виде красного патронташа учителя и жесткого блеска в глазах его товарища она прижала уши. Ее острый нюх тут же уловил особенный запах этих людей. Чернушка встретила их враждебно, хотя ничем не выдала своего испуга. Цепь вытерла шерсть на ее шее, хвост свалился, но ясные глаза смело смотрели в глаза охотников, словно читая их мысли.

— Как сжалась-то кумушка!— взволнованно воскликнул учитель.

— Летнего помета, черненькая,— авторитетно заявил Прихода, пристально и хмуро разглядывая Чернушку.— Как ты ее поймал, Панталей?— повернулся он к дорожному мастеру, который все еще сидел на табуретке перед очагом.

— Капканом,— ответил Фокасинов.— Старую лису никогда в капкан не заманишь. Молоденькая, впросак попала.

Он взял цепь и вытащил Чернушку из ее укрытия. Она изо всех сил сопротивлялась.

— Не рвись! Куда бежишь? Никудышный хвост у нее. Видишь, учитель, кончик не белый. Одно время такие трубочисты



редко встречались. А теперь все такие. Откуда развелись, черт их возьми? Меха ничего не стоит.

Он отпустил цепь и добавил:

— Я как-то в один год убил семнадцать лисиц, и все красивые. А две так просто огонь! Шерсть густая, волос мягкий, хвост — что твоя кудель, глаз не отведешь. Приехал скупщик. Купил, за сколько положено, а за этих двух я с него взял вдвойне. Тогда за пару давали тысячу четыреста.

— И я раз убил красивую лису, — сказал учитель. — Сучку. Выбежала на полянку, блеснула да там и осталась. Прямо в лоб угодил!

Метис снова залаял, и во двор вбежал черный как смоль охотничий пес с красно-бурой мордой и бровями.

— Арап пришел, привяжи его! — сказал Прихода.

Учитель кинулся ловить собаку, но Перко уже успел броситься на пришельца. Собаки схватились. Арап был крупнее, но метис сбил его с ног, вцепился в горло, и собаки покатались по земле.

Фокасинов замахал деревянной ложкой. Учитель попытался разнять собак пинками, но те только еще больше разъярились. Прихода скинул с себя пиджак из домотканого сукна и набросил на собак. Те тут же разошлись.

— Бери Арапа!— крикнул он.— И держи крепче! Где цепь? Ну и мерзкая у тебя собака, Панталей! Возьми его, ну, возьми!

— Перко — сущий черт! — гордо сказал дорожный мастер, отгоняя метиса к дому.

— Герой, потому что мой совсем без сил. Целый день работал, не то досталось бы твоему герою по первое число,— сказал учитель, задетый поражением своей собаки.

— Перко и с лисой справится,— заявил Фокасинов.

— Мой Арап перегрызает им горло в два счета.

— Что-то не верится. Лиса умеет защищаться. Собаке не так легко с ней сладить.

— Попробуем!— загорелся учитель.

— Бросьте вы это дело,— сказал Прихода, снимая замасленную кожаную сумку и вытаскивая из нее половину белого деревенского каравая и фляжку с водкой.

— Пусть Арап отдохнет немного. А потом, если он не перегрызет ей горло за пять минут, я тебе подарю его вместе с цепью.

Фокасинов недоверчиво усмехнулся, и молодой человек почувствовал себя еще более задетым.

— Ради такого случая и собаку не пожалеем,— сказал учитель не без злобы.— Давай попробуем. Согласен?

— Что ж, согласен.

— Договорились,— сказал учитель и нахмурился.

Сели есть. Учитель развязал свой рюкзак, вынул брынзу, два стручка перца и половину вареной курицы. Фокасинов поставил кастрюлю с похлебкой. Прихода взял своей короткой рукой ложку и стал шумно хлебать суп.

Несколько минут ели молча, потом спор разгорелся с новой силой. У молодого учителя пропал аппетит, он стал рассеянным и раздражительным, Фокасинов его подначивал:

— Кишка тонка у твоего Арапа. Чернушка с него с живой шкуру спустит. Она на такие дела мастерица.

Внезапно учитель встал, отвязал Арапа и повел его к куче хвороста.

— Учитель, береги собаку! Лиса может ее покалечить!— крикнул ему вслед Прихода.

Но учителя уже нельзя было остановить.

Подойдя к куче хвороста, собака учуяла лису и залаяла. Дорожный мастер и Прихода встали.

— Случится беда, ты будешь виноват, — сказал крестьянин, торопливо шагая к учителю. Посконные штаны были ему коротковаты и при ходьбе открывали толстые лодыжки.

Чернушка забилась в самую глубину своего убежища. Увидев собаку, она подалась еще больше назад и приготовилась к бою.

Учитель натравливал собаку, изо всех сил натягивавшую цепь. Привязанная к дереву гончая Приходы рвалась и скулила. Перко же лаял не столько на лису, сколько на своего врага — черного пса.

Учитель спустил Арапа, и борьба началась.

Защищенная густым валежником, Чернушка лежала на брюхе. Только голова и грудь были открыты. Собака остановилась в четверти шага от ее морды. Ожесточенно лая, она пыталась схватить ее за горло. Но Чернушка, привыкнув сражаться с Перко, на все ее попытки отвечала грозным оскалом своих молодых, острых, как гвозди, зубов. В глазах ее горело холодное ядовито-зеленое пламя.

Лай трех собак и крики учителя заглушили все. Фокасинову и Приходе надо было кричать, чтобы понять друг друга.

— Ату, Арап! Ату! — вопил учитель, прыгая по валежнику и стараясь заставить Чернушку выйти из своего убежища.

— Э, так дело не пойдет! — дергал его за пиджак дорожный мастер. — Не помогай собаке, пусть сами!

Арап все еще не решался напасть. Лаял он с такой неистовостью, что в лежбище лисы поднялась пыль, а на губах собаки выступила пена. Лай отражался от стен дома, так что в ушах звенело. Возбуждение животных передалось и людям. Учитель совсем потерял над собой власть. Вытащив из ограды кол, он воткнул его в кучу валежника и стал им шуровать. Фокасинов в сердцах вырвал кол у него из рук. В тот же миг Чернушка и Арап схватились. Загремела цепь, рык собаки и фыркание лисы слились в ожесточенный рев. Арапу удалось схватить Чернушку за горло, но зубы лязгнули о толстую цепь. В свою очередь лиса вцепилась собаке в морду. Яростное рычание Арапа неожиданно сменилось отчаянным визгом.

Учитель вскочил на кучу хвороста и стал ее разбрасывать.

— Что я тебе говорил! — кричал Прихода, пытаясь про-

лезть под сучья и вырвать собаку из пасти лисы. Но ветки, на которых прыгал его приятель, били его по голове.

— Погоди, не прыгай! Дай палку, Фокасинов! Палку, палку тащи!

Дорожный мастер поднял валявшуюся во дворе палку и ткнул ею в Чернушку. Но лиса не размыкала своих сильных челюстей, зубы ее впились в гончую.

— Пропала собака!— вопил учитель.— Бей! Бей, что ты ее жалеешь!— кричал он на Фокасинова.

Дорожный мастер продолжал тыкать палкой в лису. Чернушка беззвучно сносила боль, но собаку не отпускала. Тогда Прихода схватил Арапа за задние лапы и вытащил его из-под кучи. Учитель кинулся к своему ружью, но Фокасинов поймал его за полу пиджака.

— Стой! Не смей!

— Я убью ее!

— Животное не виновато, ты же сам захотел, батенька!

С исцарапанной морды Арапа текла кровь. От ярости и боли собака скулила и лаяла. Прихода взял ее на поводок и повел к сливе, где они оставили свой обед. Тем временем Перко стащил остаток вареной курицы и унес его за дом, чтоб там спокойно есть. Фокасинов хохотал, а красный как рак, разъяренный учитель искал свою фуражку по всему двору и ругался.

Чернушка лежала под ветками и тяжело дышала, глаза ее сверкали все тем же холодным металлическим блеском. Избитый бок подрагивал, все ее внимание было сосредоточено на собаках и людях, от которых она ждала новых мучений. Успокоилась она только тогда, когда охотники ушли искать зайцев вниз по реке. Но даже и теперь она не замечала, что во время борьбы тяжелая цепь на шее разомкнулась и лежала под ней, как убитая лоснящаяся змея...

Вечером Фокасинов понес ей вареной тыквы и остатки свиного пойла. Он наполнил помятую жестяную миску и, не взглянув, на месте ли Чернушка, произнес короткую речь о жестокосердии людей. Однако лисы уже не было. Несколько минутами раньше она убежала, и, когда Фокасинов завел патефон и уселся на скамейку перед домом, она уже трусилась густым лесом, что начинался сразу за сторожкой.

После первых ночных заморозков леса в ущелье заперestreли всеми красками осени. Желтел бук, горели багрово-красные осины, ярко сверкали лимонно-желтые липы. Листья на дубах, вначале сизые, постепенно теряли зеленый оттенок и приобретали тусклый блеск надраенной меди. Лишь кое-где еще виднелись купы зеленых кустов, словно лето нашло в них свое последнее убежище. Падали листья берез, и в тихие часы предвечерья слышался прощальный шепот, с которым они спускались на землю, кружась и задевая друг друга.

По утрам иней белел, как снег, но на солнце он быстро таял, все тропинки делались мокрыми и скользкими, и к полудню в лесу до одурения пахло опавшей листвой. Под вечер солнце заливало вершины ущелья красным отблеском заката, все затихало, замирал и лес, словно под тяжестью всего этого золота и крови.

Для Чернушки наступили раздолжные дни. Далеко от сторожки дорожного мастера, у подножия холма, за которым начинались поля, она набрела на прекрасную безопасную вырубку, обращенную к югу, с густым подлеском. Там жили только старый барсук и несколько зайцев. Красные оползни ограждали просеку с запада, где была широкая ложбина, на дне которой росла зеленая трава и журчали родники. Посреди вырубки сныел обрыв. Над ним поднимались невысокие скалы, в которых Чернушка в любой миг могла найти убежище.

За время двухмесячного плена она отошала и словно бы даже разучилась охотиться. Но сейчас в лесу было полно плодов. Вокруг черного боярышника целый день вились дрозды, синицы и сойки; дикie яблоки, груши, кизил прели и становились сладкими и мягкими. Погода все еще стояла теплая и солнечная, по ночам на поля выходили мыши за зимними припасами. Пищу добывать было легко, Чернушка наедалась до отвала и возвращалась на дневную лежку сытая, с намокшими от росы лапками. Крики петухов ее не соблазняли. Она ничего не забыла — ни капкана, ни тяжелой цепи, ни Фокасинова, ни Перко, ни схватки с гончей.

Жизнь потекла приятная и спокойная. Чернушка обрастала жирком. Шерсть стала гуще, расправилась и приобрела серо-зеленый отлив, ярко выделялись брови.

В ночных скитаниях она встречала барсука; он злобно ска-



лился и сердито похрюкивал, но преследовать ее не пытался — слишком отяжелел от обильной пищи. Был он довольно старый и жил один. Днем, если не было ветра, он проводил время под плоским камнем, где был слой мягкой земли, в которой его толстое тело блаженно утопало. Вечер выгонял его на добычу в лес, и Чернушка не раз натыкалась на него под какой-нибудь грушей, где он собирал сладкие плоды.

Что касается зайцев, они попадались ей каждую ночь и удирали от нее, заложив уши на спину. Она не пробовала их ловить, пищи и без того было достаточно, но, когда они выходили пастись на поле, подкрадывалась к ним с удовольствием.

Как-то пасмурным вечером в конце месяца она подняла на крыло в лесу незнакомую птицу. Птица взлетела, мягко шурша крыльями. Чернушка остановилась за кустом, под которым рылась в земле птица, и втянула в себя ее запах. Он напоминал дубовую прель. Чернушка пошла в ту сторону, куда полетела птица, и скоро услышала в кустах легкий шорох. Бесшумно подойдя, она увидела вальдшнепа, замершего возле гнилого пня. Он покачивал своей круглой головой с длинным клювом и большими глазами, словно кланялся.

Чернушка поняла, что он ее видит и ждет, когда она тронется с места, чтобы взлететь. И действительно, он поднялся в воздух, как только она сделала шаг к нему. Белая полоска на хвосте на миг сверкнула в темном лесу, широко раскрытые крылья красиво мелькнули в вечернем небе, и вальдшнеп исчез.

Чернушка не пала духом и продолжала бежать за ним по низкому дубовому лесу, где земля была сырая и мягкая. Она подняла еще нескольких вальдшнепов. Птицы прилетели прошлой ночью с далекого севера. Лиса вкладывала все свое умение и долго прыгала безуспешно, пока наконец ей не удалось схватить одного вальдшнепа. Зубы лисы вонзились в жирное, нежное тело птицы. Вальдшнеп раскрыл клюв, и из груди его вырвался хриплый крик. Спустя несколько минут от птицы остались одни перья.

Успех воодушевил Чернушку, и она гонялась за вальдшнепами даже днем на своей вырубке, где было много гнилых пней.

В те дни она снова повстречала лиса. Ее старый приятель стал еще великолепнее. Его зимняя шкура, пышная и золотисто-рыжая, излучала сияние, манишка на шее и груди была белоснежной, а роскошный хвост завершался прекрасной белой кисточкой.

Встрече с Чернушкой он обрадовался, его лукавые глаза смеялись, но охота на вальдшнепов увлекала его не меньше, чем Чернушку, и, дружески обняв ее, он исчез в лесу над рекой. Чернушка за ним не пошла. Она направилась по течению реки и скоро вышла к сторожке дорожного мастера.

Было раннее утро. Над ущельем тянулся густой туман. Деревья то выплывали из тумана, то пропадали. Сторожка появилась неожиданно. Чернушка услышала голос Фокасинова и увидела его — он показался ей огромным, плывущим в серых волнах тумана. Она испуганно попятилась. Пришло время возвращаться домой, и она побежала вверх по высокому буковому лесу. Уже отдалившись от опасного места, она услышала на дороге голоса. Залаял Перко, и кто-то крикнул:

— Хоп!

Лай усилился.

Наверху туман был реже; он распадался на отдельные облака, сеявшие влагу. В лесу перекликались сойки, словно искали друг друга.

Чернушка нашла под скалой сухое местечко, свернулась калачиком и легла. Шкура на спине была мокрая, мокрым был и хвост. Она встряхнула его и прикрыла им брюхо и лапы.

Вокруг стояла глухая тишина. На шоссе не тарахтела ни одна телега. Иногда туман делался гуще и спускался в ущелье. Тогда выныривали вершины противоположного склона, ржа-

во-красные, с черными ребрами, а скалы и луговины на нем выглядели как серые пятна.

Чернушка задремала. Шкура высыхала, от нее шел легкий пар. С широкой лесной дороги, по которой когда-то вывозили дрова и которая сейчас заросла травой и низким кустарником, донесся тихий свист. Человек шагал неторопливо, останавливался, покашливал и снова продолжал путь.

Чернушке часто приходилось слышать человеческие голоса. Почти каждый день пастухи прогоняли здесь коз, крестьяне резали прутья для корзин, наведывались дровосеки. Всех их Чернушка знала и не боялась. Но это были шаги человека, который чего-то ждал.

Спустя немного времени с шумом скатился камень. Пониже дороги подала голос гончая. Она гавкнула раза два и замолкла. Лай собаки проглотил туман, но Чернушка услышала шум, с каким собака бежала по просеке, слышала ее свистящее дыхание, слышала, как хвост ее бил по кустам.

Прошло порядочно времени, и тот, кто шел по дороге, повернул к скалам. Собака снова залаяла.

Лай заполнил ложбину, пронесся по густому лесу, где этим утром была Чернушка, и постепенно заглох в тумане. Преследуемый зверь побежал вдоль ущелья туда, где другая ложбина разрезала берег реки и вела в лес, в сырую котловину.

Человек прошел в ста метрах от Чернушки, следуя за своей собакой. Снова наступила прежняя тишина.

Чернушка успокоилась и задремала.

Недалеко дятел застучал по гнилому дереву. Длиннохвостые синицы, похожие на большие ноты, стайкой перепархивали с куста на куст, издавая нежный и звонкий посвист. Туман рассеивался. Серая пелена разорвалась и поползла к вершинам, а там снова сомкнулась, сгустилась, и за ней ничего уже не было видно. На другом берегу реки показался мокрый лес, тропинки и дороги, пересекавшие его в разных направлениях. Приближался полдень. На шоссе загромыхали телеги и тяжело завывли моторы грузовиков.

Неожиданно среди этого шума, к которому примешивался ровный рокот реки, Чернушка опять услышала лай гончей, и почти в ту же минуту прогремел выстрел. Звуки доносились из густого леса по другую сторону холма. Лай усиливался и приближался, становясь все громче и яростней. Эхо подхватывало его, наполняя лес несмолкаемым гулом.

Чернушка не двинулась с места. Инстинкт подсказывал ей, что лучше не оставлять свежих следов.

Через несколько минут гончая была уже на дороге. Чернушка надеялась, что она пробежит мимо, как это было утром, но лай несся прямо на нее. Она не успела встать, как услышала бег преследуемой дичи.

Из густых кустов на вырубку вылетела светло-рыжая лиса. Она бежала, высунув язык и прижав уши. Грудь ее была разодрана в кровь.

Чернушка помчалась к обрыву и забралась под большие камни, не видя, что раненая лиса устремилась за ней и заползла в те же скалы, в нескольких метрах над ней...

В своем темном и холодном убежище Чернушка слышала все, что произошло в тот мгlistый ноябрьский день.

Раненая лиса оставила кровавые следы на земле. Идя по ним, собака легко обнаружила место, где она пряталась. Гончая замолчала и попыталась забраться в ее убежище. Но щель между камнями была слишком узкой. Она начала скулить, царапать когтями камни, выть. Это продолжалось довольно долго, потом по обрыву с шумом посыпались камни. Послышалось тяжелое дыхание усталого человека, раздался знакомый голос. Гончая яростно залаяла. Снова посыпались камни. Человек, дико крича, натравливал собаку. Внезапно что-то загромыhalo, собака взвизгнула. Раздался оглушительный выстрел и одновременно предсмертный крик незнакомой лисы. Гончая с яростью вонзила зубы в горло убитого зверя...

Когда снова наступила тишина, Чернушка выбралась из своего укрытия и опасливо оглянулась. В десяти шагах от обрыва на кизиловом дереве висело ободранное тело убитой лисы. Под ним на камнях темнело большое пятно крови...

По дороге неторопливым шагом шел невысокий плотный крестьянин. Ружье висело у него за спиной, а на левом боку болталась свежесодранная лисья шкура. Это был Прихода.

6

С того дня жизни Чернушки постоянно угрожала опасность. Через день-два в ущелье лаiali собаки и гремели выстрелы. Гончая Приходы с утра до вечера носилась то на одной стороне реки, то на другой.

Ночью, выходя на добычу, Чернушка натывалась на лесных дорогах и тропах на заячий пух и кровь. На сырых листьях были видны следы собачьих лап, а местами — отпечатки царвулей. Она обнаружила еще двух ободранных лисиц. На одной сидел громадный филин. Часто попадались кострища, у которых охотники ели.

Зарядил холодный дождь, выпадали густые туманы, и в лесу уже нельзя было найти сухого местечка. Белки больше не прыгали по веткам дубов, исчезли стайки дроздов, со свистом порхавшие по деревьям, не было и вальдшнепов. Пищу находить стало трудно: все плоды уже обобрали, мыши не отходили далеко от своих норок и при малейшем шуме ныряли под землю.

Чернушке пришлось обосноваться в маленькой пещере. Вела в нее узкая щель, расширившись, она образовывала довольно просторную, сухую и теплую камеру, смотревшую на юг и потому недоступную для северных ветров.

Длинными декабрьскими ночами Чернушке с трудом удавалось найти хоть какую-нибудь пищу. Она обходила громадные пространства: взбиралась вверх на поля, подходила к деревенькам, пересекала долины, на склонах которых, поросших терновником, ночевали дрозды. На рассвете она торопилась уйти в скалы. Несмотря на то что ее кусали блохи, она предпочитала днем не покидать своего логова. Если собаки не тревожили ее, она спокойно спала, свернувшись клубком. Но однажды утром, когда она возвращалась в свою пещеру, гончая Приходы напала на ее след.

Случилось это в холодное декабрьское утро. Небо затянули свинцово-серые снеговые тучи. Дул северный ветер, в воздухе с шорохом кружились последние сорванные с деревьев листья, земля смерзлась. Река шумела, и из трубы сторожки поднимался густой дым.

Поняв, что собака напала на ее свежий след, Чернушка немедленно пошла по ветру. Этому ее никто не учил, она и сама не знала, почему побежала по ветру, а не спряталась в скалах, но тем не менее ни на секунду не усомнилась, что следует поступить только так.

Лишь очутившись на вершине холма, недалеко от полей, она остановилась. Гончая громко лаяла, ее визгивающий дискант доносился и сюда. Скоро появилась другая собака и присоединила свой голос к лаю гончей.

«Ав, ав, ав!» — заливалась первая.

«Гав, гав, гав!» — подтверждала вторая.

«А-а-а!» — отвечало эхо.

Все так же держа направление по ветру, Чернушка спустилась по другую сторону холма и, стремясь уйти как можно дальше, побежала к долине. За ней рос молодой густой лес. Все же она не решалась бежать сломя голову; она внимательно оглядывала все на своем пути, обходя тропы и открытые места.

На какое-то время собаки отстали, их лай слышался совсем слабо, но, оказавшись внизу, они снова заполнили долину своим визгом. Закричали сойки, ворон издал предупреждающий крик и черной ветошью взмыл в серое небо.

Чернушка перепрыгнула ручей и углубилась в густой лес. Собаки мчались как оглашенные. Отдохнуть было еще рано, надо бежать дальше. Еще раз она попыталась обмануть собак; надеясь замести следы, она повернула на девятую градусов и побежала против течения реки. Теперь ветер дул ей в спину. Она делала большие скачки, волоча за собой хвост; на поворотах хвост подбрасывало и заносило в сторону.

В этом лесу она была всего несколько раз и знала его плохо. Ориентировалась она по чутью, и оно же подсказывало ей, что места здесь хорошие и выходить из густых зарослей не следует. Но когда гончие снова начали ее догонять, она поняла, что, как бы быстро она ни бежала, ей не оторваться от собак, если она не сойдет их со следа.

Чернушка снова резко повернула и побежала навстречу своим преследователям. Она прошла почти параллельно им, только чуть выше, и скоро побежала по своим старым следам, которые она оставила, пересекая долину. Тогда она снова повернула вслед собакам. Вторая собака поверила ложному следу, но первую провести не удалось.

Чернушка проделала этот трюк несколько раз, пока вконец не запутала следы, так что и первая гончая растерялась.

Когда обманутые собаки умолкли, лиса вернулась по своему старому следу на вершину холма.

Ветер постепенно стихал. С серого неба посыпали редкие снежинки. Скоро ветер совсем спадет, и тогда снег засыплет ее следы. Она угадывала это по какой-то особенной тишине, по печальным отрывистым крикам птиц, по скрипу старых деревьев. Хотя она видела снег впервые в жизни, она не была удивлена. Снег вызывал в ней желание поскорее добраться до своей

пещерки, свернуться клубком и заснуть глубоким, спокойным сном...

Пока она бежала по старому лесу, ветер утих, и снег посыпался легкими хлопьями. Лес потемнел, тишина стала глухой и плотной, сама земля словно застыла и напряглась в предвкушении зимнего сна. Не слышно было больше лая собак, ниоткуда не доносилось ни единого звука, ни единого тревожного запаха, точно в мире не существовало ни собак, ни охотников.

Снег налипал на спину, лапы начали оставлять на покрытой снегом земле круглые следы.

Она прошла под самой вершиной и через густой можжевельник, заваленный камнями и гнилым валежником, выбралась к дороге. Там стоял высокий камень, на который часто опускался орел. Проходя мимо, она всегда поглядывала на камень — боялась орла. И сейчас она остановилась и взглянула вверх. Камень торчал, как сломанная колонна, вокруг него вились рой снежинок. Орла на камне не было, но ветерок, пахнувший ей навстречу, принес человеческий дух, и в тот же миг Чернушка увидела человека. Он стоял у самого камня, повернувшись к ней спиной, в занесенном снегом полушубке с поднятым воротником и нахлобученной по самые уши шапке. Под мышкой он держал ружье...

Чернушка змеей уползла назад. Уши ее прижались к шее и почти скрылись в пушистом меху. Обойдя опасное место, она побежала к пещере. Прежде чем забраться в нее, она села и прислушалась. Слышался только шум реки. С неба продолжал падать густой снег, образуя плотную завесу, сквозь которую едва проглядывали туманные очертания побелевшего леса.

В пещере было тепло, но Чернушка не спала, вся обратившись в тревожное ожидание.

7

Стоя под защитой каменной глыбы, Прихода уже терял терпение — гончая все еще не подавала голоса.

По опыту он знал, что в такую погоду собаке трудно найти потерянный лисий след и еще трудней поднять любую другую дичь. Снег налипал на брови и усы, набивался в стволы ружья и даже забирался за воротник его полушубка. Он мигал, утирал

лицо ладонью, прятал ружье под мышкой. Он уже было решил вернуться домой, но прежде надо было позвать собак и взять их на сворку, которой он обвязал себя вокруг пояса. Кричать было бессмысленно: едва ли гончие, которых он оставил в долине, его бы услышали.

Прихода вскинул ружье на плечо и пошел по козьей тропе на вершину холма. Не сделав и десяти шагов, он заметил свежезасыпанные следы Чернушки.

— Вот это да! — воскликнул он, и в нем тут же снова вспыхнула охотничья страсть и надежда убить лису.

Недолго думая он пошел по следам Чернушки. Держи-дерево цеплялось за полушубок, шапку и ружье, снег сыпался ему за воротник, резиновые царвули скользили, но Прихода, ни на что не обращая внимания, шел быстро, опасаясь, как бы снег не засыпал следы.

Выйдя на поляну, он обернулся к долине и крикнул собак. Громкий зов заглох, не родив эха. Не дожидаясь собак, он продолжал идти по следу, дошел до скал и обнаружил пещеру.

Чернушка слышала, как сыпались камешки из-под его ног, даже дыхание его слышала; она бесшумно забилась поглубже в пещеру и легла.

— Вот ты где, — сказал Прихода, голос его дрогнул от радости.

Лиса увидела его глаз, нацеленный в щель входа. Пар от его дыхания ворвался в пещеру маленьким облачком.

Темнота помешала ему видеть Чернушку, и та поняла это по выражению его глаза, продолжавшего внимательно оглядывать пещеру. Скоро Прихода отступил. На уровне его глаз отверстие было уже всего, а внизу, где пролезала Чернушка, оно немного расширялось. Он лег и попытался просунуть голову в пещеру. Это ему не удалось, но теперь лиса видела все его лицо — круглое, смуглое, застывшее от холода. В глазах было все то же сосредоточенно-ищущее выражение. Шумно дыша, Прихода оставался в таком положении несколько минут. Наконец он выпрямился, и Чернушка снова услышала его голос:

— Здесь ты, некуда тебе деваться...

Шаги отдалились. Лиса успокоилась, но Прихода скоро вернулся. Он принес большой камень, с шумом сбросил его и, отдуваясь, закупорил им вход в пещеру. Потом снова куда-то ушел.

Все внешние шумы отдавались в скалах. Чернушка поняла, что Прихода обходит и осматривает скалы. Тот и в самом деле хотел проверить, нет ли из пещеры другого выхода. Убедившись, что другого выхода нет, он вернулся и довольно потер руки.

— Погоди, вытащу я тебя, как суслика! — сказал он, снял с плеча сумку и положил ее на землю.

Потом начал звать собак. Звал долго громким и тревожным голосом. После взялся собирать сучья и хворост. Чернушка слышала треск сучьев, которые Прихода ломал о свое колено. Он отодвинул камень от входа, проверил, достаточно ли широко отверстие для собаки, подождал еще несколько минут и зажег хворост.

Пламя быстро охватило ломкие сучья, которые загорелись с легким потрескиванием. Прихода подождал, пока огонь разгорится, собрал листья и кинул их в костер. Густой едкий дым пошел в пещеру. Лиса попыталась уйти от дыма, но скоро он наполнил всю пещеру. Чернушка уже не видела вокруг себя ничего, кроме теплого, густого, едкого тумана, который словно подхватил ее и покачивал.

Костер горел неравномерно, сырые листья подсыхали, загорались, и дым уменьшался, потом снова наступал черед сырых, и тогда пещеру опять заполнял густой серо-зеленый едкий дым. Чернушка ползала по пещере, натыкаясь на стены.

Наконец она открыла, что в глубине пещеры дым не такой густой. Трещина в скале поднималась вверх и выходила наружу. Легкое воздушное течение у ее начала втягивало дым как трубу. Чернушка обосновалась тут, свернулась в клубок и уткнулась мордой в длинную мягкую шерсть на брюхе. Теперь, прежде чем попасть ей в легкие, дым несколько очищался, проходя через шерсть. Она чувствовала, что силы ее оставляют, голова кружится и ее несет куда-то вместе с пещерой. Треска огня она уже не слышала. Сознание оставило ее, хотя лежала она все так же, свернувшись клубком, с крепко вжатой в брюхо мордой и наброшенным на голову хвостом. Скоро дым начал редеть, но зато стало жарко. Потеряв надежду выгнать лису из логова, Прихода уже в совершенном ожесточении разложил огромный костер. Огонь так сильно нагревал камни, что они трескались от жара, воздух внутри трепетал, каменную пещеру ярко осветили языки пламени, и,

если бы Прихода мог заглянуть внутрь, он увидел бы спину свернувшегося клубком зверька, в котором едва теплилась жизнь.

Наконец костер погас. Дрова прогорели, и разъяренный Прихода снова взялся звать собак. То звал, то прислушивался, не раздастся ли ответный лай. Гончие тем временем подняли новую дичь и гнали ее где-то возле самой реки. Прихода выругался, завалил вход в пещеру камнем, взял ружье, прислоненное к скале, и пошел в побелевший лес.

Чернушка не слышала, как он уходил. Она лежала как мертвая. Только под вечер, когда снег перестал падать и на белый лес опустилась темнота, она пришла в себя, подползла к выходу и попробовала выбраться наружу. Тяжелый камень прочно закупорил трещину. Чернушка была истощена и не могла его сдвинуть. Она вернулась и легла, чихая и вылизывая свою шкурку, чтобы избавиться от тяжелого запаха дыма.

Попозже она предприняла еще одну попытку сдвинуть камень. Она царапала его и била по нему лапами, но он недвижно стоял на месте. Все ее усилия ни к чему не приводили, но она не отчаивалась. Передохнув, она с новыми силами принималась за камень. В многократных безуспешных попытках прошла длинная декабрьская ночь. Наступило утро, и Чернушка снова услышала шаги Приходы.

Он подошел к скале и заглянул в трещину.

— Ну, как дела? — сказал он. — Если ты не задохлась от дыма, завтра я сдеру с тебя шкуру обязательно.

Он снял мешок и вытащил из него что-то тяжелое и громящее. Камень был отодвинут, и в пещеру проник белый свет зимнего дня. Чернушка увидела капкан. Прихода приладил его у самого входа. Потом положил камень на место и ушел. В пещере снова стало темно.

8

Долгое время Чернушка не решалась приблизиться к опасному предмету. Она слышала щелканье пружины, и этот звук, который был ей знаком со времени плена, подсказал ей, что ее ожидает. Капкан темнел у самого выхода; разведенные дуги спокойно лежали полукругом, готовые сжать ее горло своими стальными ручищами.

Когда голод стал мучительным и она почувствовала настоятельную необходимость выбраться из пещеры, она медленно поползла к капкану на брюхе. Сантиметр за сантиметром лапа ее приближалась к страшной машине. Она тщательно ощупывала покрытые сажей стены. Все ее внимание было сосредоточено на чем-то таком, что было ей самой не совсем ясно. Инстинкт подсказывал ей, что нельзя приближаться к капкану, но, с другой стороны, в ней жило смутное воспоминание о том, что капкан схватил ее, когда она прыгнула на него сверху. Сейчас она не станет прыгать — она подползет и тронет его лапой, а если он бросится на нее, она отскочит, как отскочила бы, если бы на нее напал какой-нибудь зверь.

Сжавшись в комок и приготовившись к опасности, она коснулась лапой холодной железной скобы. Ничего не произошло, и, отдернув лапу, она впилась глазами в капкан. Она разглядывала его внимательно и терпеливо, наострив уши, отчего морда ее приняла сосредоточенное выражение: она мучительно думала. Ничего не придумав, она снова тронула скобу лапой. Однако не отдернула ее сразу, а легонько нажала на железо. Капкан скользнул по гладкому камню. Чернушка убрала лапу. Теперь она знала, что капкан можно трогать и двигать. Она опять принялась его рассматривать и через несколько минут снова его тронула. Ручка ударилась о стену, цепь, на которой держался капкан, загремела. Дальше капкану двигаться было некуда. Но Чернушка этого не поняла. Она опять попыталась сдвинуть его. Капкан не шелохнулся. Она толкнула сильнее, а когда и это не помогло, попробовала подсунуть лапу под дугу. Это оказалось не таким легким делом. Надо было перевернуться, и она легла на бок, сунула лапу под дугу и оставила ее там. Капкан стоял спокойно. Она держала лапу под железной дугой до тех пор, пока лапа не устала от тяжести. Ей захотелось освободиться. Она легонько потянула лапу назад, но железная дуга крепко прижимала ее. В ужасе она решила, что капкан держит ее и не пускает. Она отчаянно дернулась изо всех сил и вскочила на ноги. В тот же миг капкан ударился о стену. Подпрыгнув он как живой, и его дуги с треском сомкнулись.

Чернушка нырнула в глубину пещеры, думая, что капкан вот-вот набросится на нее, но он больше не шевелился. Захлопнувшись, он сместился в сторону от входа, и лиса воспользовалась этим, чтобы еще раз попробовать сдвинуть камень. Всю

свою неистощимую энергию она вложила в это дело. Она сточила ногти почти до мяса, но камень был непоколебим.

Так прошел короткий декабрьский день, и наступила ночь.

Завыл ветер. Над ущельем ревела буря. Всю ночь Черпушка слушала скрип деревьев и свист ветра, который заносил вход снегом.

На рассвете буря унялась. В белом лесу воцарилась мертвая тишина. Не было слышно журчания реки, в холодном воздухе не раздавалось ни единого звука. Около полудня Чернушка уловила далекие шаги Приходы.

Он отодвинул камень и в изумлении глянул на захлопнувшийся капкан. Голова его была повязана коричневым шарфом, усы заиндевели, из покрасневшего носа шел пар. Он выругался, покачал головой и внимательно оглядел землю вокруг капкана. Потом взялся за цепь и стал его тянуть. Захлопнувшиеся дуги не проходили в трещину. Он долго дергал капкан так и этак, пока не вытащил его наружу. Это совсем его разъярило.

— Ах ты, паршивка! — закричал он. — Я тебя проучу! Еще раз, и пуцу в ход ружье. Ты меня не перехитришь!

Он снова сделал попытку увидеть лису и заглянуть внутрь. Глаза его слезились. Отпрянув, он оттянул пружину и осторожил капкан на прежнем месте.

Возле скал стало тихо.

9

Три дня подряд Прихода настораживал капкан, и каждое утро находил пружину спущенной. На четвертое утро он принес дохлого петуха и старое одноствольное ружье. Привязал петуха к спуску, нацелил ружье на птицу и ушел вне себя от ярости.

В тот день голод особенно мучил Чернушку. Потеряв надежду сдвинуть камень, она в который раз обошла свое жилище и в глубине пещеры обнаружила трещину, через которую выходил дым. Извилистая трещина шириной в ступню человека уходила вверх и была забита камнями, прелыми листьями и землей, насыпанными сюда ветром и дождем.

Лиса начала рыть передними лапами, вытянувшись в узком проходе. Сначала дело продвигалось быстро, но когда зад-

ние ноги ее перестали опираться о дно пещеры, ей пришлось цепляться за камни. Она быстро уставала и ложилась. Потом опять начинала разрывать проход. Иногда путь загораживал крупный камень, застрявший в узкой трещине. Проходили часы, прежде чем ей удавалось отковырнуть камень и сбросить его вниз.

На четвертое утро, когда Прихода принес петуха, она освободила трещину наполовину и всем своим существом уже чувствовала близость внешнего мира, от которого ее отделял лишь тонкий слой мягкой земли.

Услышав знакомые шаги, она залегла в пещере и стала следить за движениями Приходы.

Мертвая птица осталась лежать у входа, снова наступила тишина. От голода мучительно сводило желудок, но воспоминание о петухе Фокасинова и утре пленения навсегда связалось в ее представлении с капканом, и ее недоверие лишь укрепилось. Дуло ружья еще больше усиливало страх, и ничто на свете не могло заставить ее приблизиться к капкану.

Все же искушение было так велико, что она побежала в глубину пещеры и принялась рыть дальше.

Земля и камни падали сверху с легким шуршанием, и скоро Чернушка достигла той части трещины, где она делала резкий поворот. Тело ее защемило в узком проходе, и долгое время она не могла двинуться ни вперед, ни назад. Она извивалась изо всех сил; когда она отдыхала, задние ноги ее беспомощно повисали. Потом она снова ползла вверх, и снова слышался шум падающей земли. Только в полночь ее голова оказалась над трещиной, а чуть позже Чернушка наконец выбралась из своего плена, отоцавшая, вся в грязи и земле. Израненные лапы кровоточили.

Над ущельем нависла холодная тишина. Сбросивший снежный убор лес мрачно чернел. Не было слышно ни единого звука, словно и сама земля зачоченела в эту ледяную декабрьскую ночь. Лишь из лога, над которым стояли скалы, Чернушка уловила плачущий рокот реки. Жажда мучила ее не меньше, чем голод, и она потащилась к воде, оставляя за собой кровавый след. Снежная кора была твердой, и она шла, не проваливаясь. Издали она увидела черное пятно — вокруг теплого родника растаял снег. Какая-то тень промелькнула на противоположном склоне. Это заяц прибежал пощипать травки возле родника, Чернушка не обратила на него никакого внимания.



Все внутри у нее горело от жажды, единственным ее желанием было напиться.

Погрузив язык в воду, она присела — наслаждение было столь сильным, что по всему телу разлилась изнуряющая слабость. Напившись, она отошла и легла неподалеку. Легкие ее жадно поглощали холодный воздух. Ее еще мучил запах дыма, пропитавшего пещеру.

Чернушка начала зализывать раны, продолжавшие кровоточить; лапы болели. Она встала и залезла в болотце возле родника: от тепловатой воды боль утихла. Она стояла, понурив голову и свесив хвост.

На противоположном склоне лога закрипел снег. Показался силуэт возвращавшегося с жировки зайца.

Чернушка неслышно распласталась на грязной земле, совершенно с ней слившись. Заяц остановился на другом конце болотца. Их разделяло не больше пяти шагов, но Чернушка не решалась прыгнуть. Так прошло несколько минут. Заяц стоял, собравшись в пушистый комок, одни длинные уши двигались, точно концы ножниц. На заснеженном берегу четко ри-

совались мягкие контуры его съежившегося тела. Наконец он прыгнул в болотце и осторожно, словно боялся намокнуть, принялся щипать траву.

Чернушка, напрягая мускулы на задних лапах, бросилась вперед. Зубы ее вонзились зайцу прямо в загривок, за которым шли хрупкие плечевые кости. Заяц заверещал. Лиса сомкнула челюсти. Заяц кричал и метался, задние лапы подбрасывали его, словно пружины. Он был крупный и сильный. Лиса попыталась схватить его за горло, но заяц вывернулся и кинулся прочь. Он сделал два громадных прыжка, сразу оторвался от лисы, однако тут же рухнул на землю. Лиса перекусила ему шейные артерии...

Чернушка съела половину зайца, а другую половину оттащила в лог и зарыла. Страшно хотелось спать. Она пошла по лесу, еле шевеля своими израненными лапами, с твердым намерением навсегда покинуть скалы.

10

Спасаясь от Приходы, Чернушка оказалась в родных местах. Она поселилась в низких зарослях орешника, лип и бука. Напротив, в скалах, жила ее мать.

В этих зарослях она нашла прекрасную барсучью нору. Хозяева ее спали в своем теплом логове. Зима усыпила их, и Чернушка могла свободно хозяйничать в их доме.

Вначале, когда она, обходя чужое жилье, увидела спящих барсуков, зарывшихся в сухие листья, она испугалась, так как сразу поняла, что они не мертвые, а просто спят непробудным сном. Но позже свыклась с их присутствием и спокойно проводила дни в темном лазе.

Вечерами она уходила за холм, откуда открывалась широкая панорама окрестностей. Здесь ущелье кончалось, склоны его раздавались в стороны и, словно две огромные руки, обхватывали широкую волнистую равнину с густой сетью дорог и ложбинок, в которых прятались хутора и деревеньки. Река рассекала эту равнину, огражденную высокими горами.

Чернушка спускалась по крутому склону, поросшему обглоданным козами кустарником, переходила шоссе возле заброшенной мельнички и шла вдоль деревенок — добывать пищу.

Холодные декабрьские ночи стояли темные, безлунные. В небе мерцали синеватые звездочки. Зловеще чернел освободившийся от снега лес. На пустынных дорогах, пожелтевших от мочи и навоза, виднелись следы саней. Скованная льдом река чернела только на стремнине. После полуночи раздавался треск льда, огоньки в деревенских окнах гасли, туман смешивался с темнотой, и всё кругом заволакивала мертвенно-серая холодная пелена.

В одну из таких ночей Чернушка встретила свою мать. Старая лиса не остановилась, тенью шмыгнула в овраг.

На рассвете Чернушка возвращалась своим обычным путем. Перед восходом солнца снег становился голубовато-стальным, в воздухе кружились крохотные ледяные кристаллы. Солнце поднималось, громадное и красное, и окрашивало снег малиново-красным цветом. Иней покрывал леса хрустальными кружевами, и на каждом кусте расцветали нежные цветы. Шкуру Чернушки осыпало снежной пылью, и, прежде чем залезть в нору, она старательно отряхивалась. Когда солнце поднималось выше, теперь уже ослепительно желтое, иней таял и с тихим шепотом падал на землю. Когда не было ветра, Чернушка грелась на солнышке. Ее продолговатые глаза, чуть скошенные к основанию ушей, блаженно щурились. Шкура лоснилась от щедрого света. Сойки сбивали иней, кричали, оперение их переливалось яркими, чистыми красками. В глубине ущелья, над незамерзающей стремниной, играли отблески, словно там кто-то размахивал саблями. К полудню снег начинал таять, а к вечеру на противоположный склон ущелья заползала огромная тень. И Чернушка снова отправлялась на охоту. Каждую ночь ее ждали новые приключения и встречи с другими охотниками, так же, как и она, вышедшими на добычу. Она набредала на хорьков, издававших неприятный запах, попадались ей незнакомые лисицы, белодушки, даже дикие кошки, от которых она спасалась бегством. Однажды ей встретился волк-одиночка. Он заметил Чернушку, погнался за ней, и от страха она понеслась, как на крыльях. Успокоилась только в лесу...

Во время своих ночных походов она часто проходила мимо кооперативного огорода, где жил и работал Прихода. Поздней ночной порой она подкрадывалась к дому и слышала, как за стеной храпят Прихода и его товарищи. В хозяйстве не было другой собаки, кроме гончей, а она спала в теплом хлеву, и поэтому Чернушка беспрепятственно ловила мышей

возле самого дома или в овраге, где стояло огромное водоподъемное колесо.

Так она провела конец декабря с его короткими днями и бесконечно долгими ночами.

11

Зимой на огороде работы не было. Крестьяне коротали время у печки, разговаривали, играли в карты, читали газеты. К вечеру все шли в село по своим делам. С Приходой оставалось два-три человека, любивших послушать про его охотничьи приключения и побалагурить с ним. Детей у Приходы не было, жена работала тут же, и они жили здесь, а свой дом в деревне заперли.

Про историю с лисой знали все. Прихода представил Чернушку необыкновенно крупным и хитрым зверем, шкура ее, по его словам, горит огнем, а хвост длиннющий, что твое помело. Свою неудачу он объяснял тем, что не пошел вовремя посмотреть, как дела, и лиса ускользнула, «хоть и раненая», а ее кровавый след замело снегом.

Его воображению Чернушка и впрямь рисовалась необыкновенной лисой. Она не выходила у него из головы, он мечтал о том, как убьет ее и принесет домой ее прекрасную шкуру. Оставив в пещерке ружье и петуха, он был убежден, что лиса теперь уж наверняка его, и побился об заклад, что на этот раз вернется не с пустыми руками. Из-за спора он и не пошел на следующий день поглядеть, что там происходит, полагая, что голодный зверь не одолеет искушения и тронет петуха, «и, если это не случилось сегодня, значит, непременно случится завтра». Так, боясь проиграть спор, он для верности пошел к пещерке только на второе утро.

Когда он подошел к скалам, ружье было на прежнем месте, курок взведен. Прихода понял, что петух не тронут. Он обошел скалы, увидел отверстие, через которое Чернушка выбралась, и разразился яростной бранью, размахивая руками и брызгая слюной. Потом двинулся по следу. Пятна крови на снегу казались желтыми. Но идти по следам было трудно — следы исчезали, впитанные снегом. Прихода прошел сотню метров и понял бессмысленность своих стараний.

Вернувшись домой, он, однако, представил дело иначе. Лиса была ранена его ружьем, солгал он, но не смертельно;

рана, видимо, оказалась легкой. Он хотел доказать, что, хотя ему и попалась очень хитрая лиса, он все же сумел ее перехитрить и только по чистой случайности проиграл спор. Однако через неделю Прихода и сам уже верил в правдивость своих слов и мог поклясться, что все так и было, хотя на самом-то деле ружье в скале так и не выстрелило.

— Шкуру жаль! Такой зверь ушел из-под носа! — вздыхал он. — И зачем я только об заклад бился? Пошел бы себе на другой день и тихо-спокойно взял бы лису.

— Где-то теперь она ходит живая и здоровая, — подсмеивались над ним его приятели.

— Как же, ходит она! — задумчиво говорил Прихода, вспоминая вдруг про свой обман, и тут же пускался объяснять, куда и как была ранена лисица.

Как только потеплело и установилась подходящая для охоты погода, Прихода отправился в село звать учителя. И однажды утром учитель пришел со своей черной гончей.

— Пойдем на ту лисицу, — заявил Прихода, когда они вышли со двора. — Я поклялся, что убью ее. Я из-за нее ночей не сплю, заклад проиграл, посмешищем стал...

— Ты о какой лисе говоришь? — удивился учитель, который давно знал историю с Чернушкой. — Ты же говорил, что она сдохла.

— Говорить-то говорил, да только самому не верится, — сказал Прихода, нисколько не смутившись. — Может, рана была совсем легкая. Откуда ж я знаю!..

— Ладно, — усмехнулся молодой человек. — Куда же ты, думаешь, она ушла? Не живет же она снова в пещере?

— Я думал об этом. Пошли, я покажу тебе, где она!

Они шли по шоссе, громко разговаривая и то и дело одергивая собак, рвавшихся вперед. Утро выдалось хмурое, дул южный ветер, снег лежал свинцово-серый. Деревья шумели, снег размяк и осел.

— Самая лучшая погода для охоты! Теперь только бы поднять зверя — не уйдет! — сказал учитель.

— Славная погодка! Однажды в такой день ну и зайцев мы настреляли! Вот была охота!

Все больше вдохновляясь, они наперебой рассказывали разные свои приключения, с надеждой поглядывая на собак и поправляя на плечах ремни ружей. Войдя в ущелье, Прихода стал осматривать берег реки. Недалеко от моста начиналась

круто уходящая вверх луговина. Она простиралась от самого шоссе до гор громадным белым полотнищем. Зоркие глаза учителя углядели вдалеке лисий след.

— Смотри! — сказал он и показал на следы. — Видишь, откуда шла. Держу пари, что лиса прошла здесь самое большее десять минут назад.

Прихода посмотрел вверх и уверенно сказал:

— Она!

— Кто — она? — спросил учитель.

— Та самая лиса.

— Брось! Откуда ты взял?

— Говорю тебе, что она. Пойдем за ней.

— Мне все равно, — согласился учитель.

Они пошли по следу. Собаки натягивали поводки, с жадностью вдыхая свежий лисий дух. Пасть раздувалась, готовая раскрыться в неудержимом лае, распиравшем грудь.

Собак спустили, как только дошли до крутого склона холма. Лисьи следы тянулись вдоль леса.

— Хм! — сказал учитель, глядя, как собаки, взяв след, молниеносно исчезли в направлении лога. — Меня всегда поражает лисий нарыск. Наглядеться не могу. Как монисто нжет.

— Ожерелье, да! — подтвердил Прихода.

Охотники зарядили ружья.

— Теперь один пойдет поверху, по самому гребню, а другой останется на дороге. Ты куда хочешь?

— Оставайся здесь, — сказал учитель, вскинул ружье на плечо и молча полез в низкие кусты.

— Если собаки погонят с другой стороны, спускайся к скалам. Ну, ни пуха ни пера!

— Ни пуха ни пера! — ответил учитель, не оборачиваясь.

Прихода вышел на дорогу. Отсюда была видна большая часть ущелья: извилистая лента шоссе, замерзшая река, леса, потонувшие в снегу. Туман рассеялся, и на фоне серого неба протянулись заснеженные цепи Балкан.

Прихода остановился, сунул ружье под мышку и замер.

К его удивлению, собаки молчали.

«Неужели потеряли след?» — подумал он и поднял глаза к гребню, чтоб посмотреть, где учитель. Тот все еще шел по низкому лесу.

Неожиданно гончая твякнула, словно бы подняла зайца.

Тут же подала голос собака учителя. Прихода взял ружье в руки и щелкнул затвором. Лай замолк.

Он ждал, не сомневаясь, что собаки снова найдут поднятого зверя. Обернувшись, он посмотрел вверх. Учитель стоял, выпрямившись во весь рост, на верху одной из скал на самом гребне. На фоне серого неба фигура его казалась маленькой и черной.

Прошло десять минут, а собак не было видно. Прихода снова кинул взгляд на учителя. Скала была пуста.

— Эй! — крикнул Прихода.

Не получив ответа, он пошел туда, откуда слышал лай собак.

Он полез на крутой склон, скользя и обливаясь потом. Неожиданно над ним показался учитель.

— Что такое?

— Следы ведут вниз, — сказал Прихода.

— Надо позвать собак.

Учитель положил руку на патронташ и нервно барабанил пальцами по металлическим головкам патронов. Ружье небрежно висело на его плече. Прихода стоял спокойно. Заячью шапку он сдвинул на затылок. Ноги в толстых обмотках были что столбы. Просаленная сумка висела на боку нескладным комом. Полушубок на меху был подпоясан собачьим поводком.

Ветер бил им в спину, играя спущенными ушами лыжной шапки учителя. Теплая волна воздуха, пришедшая из-за гор, размягчала снег, делая его ноздреватым.

Подождав еще несколько минут, Прихода позвал собак. Учитель снял с плеча ружье, прицелился в дерево и спустил курок. Выстрел наполнил грохотом все ущелье, а на снегу возле дерева появились черные точки.

— Ко мне, Арап! Ко мне, Волга! — кричали они в два голоса.

Неожиданно из леса выскочила Волга. Вся голова ее была в земле.

Прихода сразу понял, что произошло.

— Говорил же я тебе, что это та самая лисица! — крикнул он. — И она снова забралась в скалы! Ах, ни дна ей, ни покрышки... Веди, Волга, веди! — приказал он собаке.

Волга посмотрела на него покрасневшими глазами и повернула в лес, время от времени оборачиваясь, чтобы проверить, идет ли за ней хозяин.



12

В то сырое теплое декабрьское утро Чернушка возвращалась домой позже обычного. Тьма медленно расходилась, ветер наполнял пространство шумом и движением, притягивавшими ее внимание; кроме того, в небе появились дикие гуси, да и мышей в этот раз было много.

Чернушка запаздывала. Перебегая шоссе, она увидела сапи. Крестьянин гикнул и громко выругался.

На рассвете снег уже не выдерживал тяжести ее тела. Бежать было трудно. Чернушка проваливалась до плечей. Она наискосок пересекла луговину, потом повернула к холму и оказалась в своем лесу, когда уже совсем рассвело. Обычно, перед тем как залечь, она замечала свои следы, выбирая путь, где снежный наст был твердый или где его пробили камни. Но сейчас следы ее были видны издалека.

Она не стала залезать в барсучью нору, а легла у подно-



жая липы. И почти сразу заснула, устав от ночных скитаний.

Собаки застали ее врасплох. Она услышала их, когда они были совсем близко, и сначала решила не трогаться с места, надеясь, что, может быть, они пройдут мимо. Но Волга подбежала к самой липе. Чернушка не выдержала, одним махом перелетела через кусты и понеслась вниз, преследуемая бешеным лаем. Она быстро поняла, как трудно ей будет бежать по талому снегу, и увидела, что собаки бегут легко. Чернушка повернула к барсучьей норе и, не колеблясь, нырнула внутрь. Все произошло в мгновение ока.

С того места, где спали барсуки, нора разделялась на два лаза, которые вели в противоположные стороны. Чернушка шмыгнула мимо спящих, ни о чем не подозревающих хозяев и проскользнула в задний лаз.

Собаки шли за ней по пятам. Арап, не переставая лаять, залез в нору и, помогая себе лапами, с трудом продвигался по

темному подземелью. Чернушка приготовилась его встретить в самой узкой части лаза, где выпирал камень, делавший его еще более тесным.

Добравшись до барсуков, Арап залаял с еще большей яростью. Ему вторила Волга. Барсуки зашевелились. Лай разбудил их, но тяжелый сон продолжал держать их в сладостном оцепенении.

Подбодренный присутствием Волги, Арап отступил в лаз, где была Чернушка. Таким образом, барсуков можно было атаковать с двух сторон.

Те свирепо захрюкали. Барсук повернулся к Арапу, барсучиха — к Волге. Арап попятился дальше, и Чернушка в темноте увидела его зад. Барсук надвигался медленно, но неотступно. Его приподнятая верхняя губа открывала густой ряд белых зубов. Арап уже не лаил, а свирепо рычал. Зад его уперся в камень. Больше отступать было некуда. Барсук понял, что пора начинать бой, и бросился на противника. Завязалась отчаянная драка. Нора наполнилась рычанием, визгом и воем. Чернушка видела, как собака спиной ударяется о камень, как на шкуру ей сыплется земля, слышала сердитое хрюканье разъяренного барсука и щелканье его зубов.

Вдруг раздался визг собаки, но ей тут же удалось вырваться из зубов барсука, и борьба возобновилась. Бой прекратился неожиданно, барсук отступил в нору. Арап осмелел и залаял провозительным, несвойственным ему лаем. Волга вылезла из норы, и Арап почти умолк, испугавшись, что остается один. Но скоро в темное и теплое подземелье донесся глухой топот. Чернушка услышала шаги двух охотников, которых привела Волга. Лай снова наполнил нору. Близость хозяев придала собакам храбрости, и они смело бросились на барсуков.

Целый час не умолкал лай в темной барсучьей норе. Чернушка подалась еще больше назад. Лаз расширился. Она повернулась и на брюхе поползла до старого полузаваленного выхода. Сквозь снег пробивался слабый дневной свет. Чернушка подобралась к самому выходу и стала прислушиваться, чтобы понять, где охотники. Выскочила она с такой стремительностью, как будто из расселины забил гейзер. На мгновение она увидела лежащего на расчищенной от снега земле Приходу, который, прижав ухо к земле, пытался определить, в каком месте лают собаки. Лисы он не заметил, весь обратившись в слух. Но учитель углядел ее и выстрелил. Что-то злобно просвистело

в ветвях, и Чернушка почувствовала, как ей ожгло спину. Она кинулась, делая громадные прыжки, вниз по логу, а вслед ей неслись вопли охотников.

13

После этого случая Чернушка была вынуждена уйти из леса над логом тоже. Через несколько дней, январской ночью, она прошла мимо барсучьей норы. Она увидела следы людей и собак, истоптанный окровавленный снег, вывороченную черную землю. Разоренная нора была полна воды.

Рана на спине Чернушки оказалась пустяковой: мелкая дробь лишь оцарапала кожу, не задев кости. Несколько дней она вылизывала рану, и все прошло.

Она снова вернулась на вырубку, где за ней охотился Пряхода, но в свою пещеру войти не решилась. Какое-то время у нее не было постоянного жилища. Спала она где придется — то возле реки, откуда ее прогнала сестра, давно убитая охотниками, то в большом лесу за холмом. Погожая теплая погода позволяла спать на открытом воздухе и греться на солнышке. Но в середине месяца опять пошел снег. Вырубку занесло глубокими сугробами. Снегопад продолжался два дня, и все это время Чернушка не вылезала из дупла упавшего полусгнившего дерева. Она сидела там, как в громадной трубе. Снег завалил ствол, и внутри стало теплее, чем под землей.

После снегопада небо прояснилось, и ударили морозы. Никакого подножного корма не было, и Чернушка принялась усердно охотиться на зайцев. Каждый вечер она выслеживала зайцев, гонялась за ними не хуже борзой, и все же ей не удавалось поймать ни одного. В тихие лунные ночи снег предательски скрипел, а луна светила так ярко, что все было далеко видно.

Чернушка бродила вокруг дома дорожного мастера, ходила по шоссе, вынюхивая хоть какую-нибудь пищу, брошенную людьми. К деревенькам идти она боялась из-за глубокого снега. Не раздобыв мяса, она грызла гнилые стволы и утоляла голод древесной трухой. Потом она стала переходить и на другую сторону ущелья, где набрела на стаю куропаток. Каждую ночь она гонялась за ними вдоль шоссе, подстерегала их у полузамерзших ручьев в овражках. Голод настолько придал ей смелости, что однажды ночью она решилась забраться во двор дорожного

мастера. Перко залаял, а Фокасинов, который где-то раздобыл ружье, вышел на порог и выпалил наобум. Чернушка снова услышала знакомое «Ату-у!».

Через несколько дней, шастая возле огорода, она пробралась под навес и унесла большую курицу, которую не пустили в курятник, чтобы она не заразила других. Курица не издала ни звука, и никто из людей не проснулся. Однако наутро Прихода опытным глазом охотника обнаружил на снегу лисьи следы. На следующую ночь он решил подстеречь ее с ружьем в руках. Спрятавшись в тени навеса, он просидел там до самой зари. Чернушка подошла так близко к нему, что слышала, как он пыхтел и шмыгал носом от холода за кирпичной стеной навеса. Она пробиралась не со стороны открытого огорода, а шла задом постройке, прячась в их тени. Прихода так и не узнал, что хитрый зверек приходил второй раз и был так близко от него. Но Чернушка учуяла своего врага, и, как ни привлекала ее курятинка, больше на огород она не совалась.

Сильные морозы и сугробы не позволяли охотникам подниматься в горы, и даже Прихода теперь ходил на зайцев в рощицы на равнине. Два барсука надолго утолили его охотничье тщеславие. Он почти забыл Чернушку и снова стал уверять, что знаменитая лиса сдохла от ран. Учитель сказал ему, что лиса, которая неожиданно выскочила из барсучьей норы, была маленькая и черная.

К концу января потеплело, снег стаял, наступили ясные и теплые дни. Больше Чернушка не голодала. Она снова поправилась, и жизнь у нее пошла спокойная и приятная.

14

Погода все время менялась: то падал легкий снежок, таявший при первых лучах солнца, то валил густой снег, зима возвращалась, и грязные дороги и леса покрывались новой чистой белизной. В воздухе было много света, день прибавлялся.

Из ближних хуторов и деревенок стал доноситься бой барабанов. Это игрались свадьбы, и Чернушка целые дни прислушивалась к глухим ритмичным ударам барабанов, далеким звукам кларнетов и волынок. Порой по шоссе проезжали телеги с подвыпившими крестьянами, мелодично позванивали колоколь-

чки на конских дугах, раздавались веселые возгласы. Утром туман снова заливал ущелье, а река шумела с каждым днем сильнее — в горах таял снег.

Ночью на синее небо выплывала полная луна, и филин страшным голосом звал свою подругу. Утки пролетали над ущельем длинными черными, плотно сбитыми вереницами, держа курс на север, и пропадали в сверкающем небе. Незнакомые лисы хрипло тявкали и валаивали.

Чернушка стала беспокойной. Бродила туда-сюда, охваченная смутными желаниями, вслушивалась в лай других лисиц и совсем уже не считалась с установленными, согласно лесным законам, границами, забредая на чужую территорию. Любый лисий нарыск приводил ее в волнение. Если обнаруживалось, что его оставил лис, Чернушка шла по нему, горя желанием встретить незнакомца. Любопытство и беспокойство заставляли ее переходить на другую сторону ущелья, а иногда заходили и еще дальше. В этих своих скитаниях она несколько раз встречала взрослых лисиц, и каждую из них сопровождал лис. Они злобно скалились и шипели при ее приближении. Дня четыре Чернушка ходила одна и наконец в одну из теплых ночей, когда ее особенно мучило одиночество, она села на опушке леса, посмотрела на луну и протявкала точно так же, как тявкали ее сестры. Произошло это недалеко от сторожки дорожного мастера, возле большого букового леса, который раскачивался под напором сильного южного ветра. По небу плыли разорванные в клочья облака. Луна то пряталась за ними, то снова вылезала, яркая и лучистая, небо сияло, и края облаков светились. Снизу, от сторожки, ей ответил сердитый лай Перко, а Фокасинов, бродивший по двору, громко сказал:

— Чего кричишь, негодница? Совсем сдурела!

Ветер донес эти слова так отчетливо, словно Фокасинов был совсем рядом, но Чернушка не обратила на него никакого внимания. Властный и нетерпеливый зов крови подчинил себе все ее существо; в эту теплую февральскую ночь ею владело только одно желание — как можно скорее встретить своего сородича.

Она побежала вверх по реке, продолжая время от времени валаивать. Так она подошла к мосту, бросавшему свою черную тень на мутную воду; пустынное шоссе темнело. Чернушка вышла на луговину, через которую обычно проходил ее путь к деревенькам, и там заметила тень, двигавшуюся ей навстре-

чу. Она остановилась, наклонила голову, и ее желтые глаза, в зрачках которых отражалась луна, разглядели лису. Тень приблизилась, и Чернушка учуяла незнакомого лиса.

Он был такой же черненький и мелкий, как и она сама. Шерсть на спине вылезла от какой-то болезни, и местами на теле проглядывали бледно-серые проплешины, словно его кусали и душили.

Он радостно обнюхал Чернушку, виляя хвостом и умильно поскуливая. Но Чернушка сердито заворчала и побежала по луговине вниз. Лис ей не понравился. Тот следовал за ней покорно и смиренно и останавливался, как только останавливалась она. Чернушка оборачивалась, видела огоньки в его глазах и ворчала. Лис испуганно вздрагивал и отводил глаза, словно не хотел замечать ненависти Чернушки.

Всю ночь он следовал за ней по пятам, помогая ей ловить мышей, но сам не съел ни одной. Крал пойманную добычу перед ней и, счастливый, смотрел, как Чернушка ест. Однако это не изменило их отношений.

Утром, когда Чернушка выбрала себе лежку в вырубках над рекой, он расположился в сторонке и лег головой к Чернушке, точно боялся, что та возьмет и сбежит от него.

15

Совсем еще недавно красавец лис, живший на другой стороне ущелья, рано возвращался па лежку, замечая свои следы по крутоярам, и проводил время в скалах среди зарослей низкорослого кустарника, плюща и травы. Из своего надежного укрытия он слышал все, что происходило кругом, слышал лай охотничьих собак и чувствовал себя в полной безопасности.

Но теперь и он стал запаздывать, ему уже не хотелось лежать в холодных скалах и сидеть целый день на одном месте. По ночам его больше занимали его подруги, чем зайцы и мыши. Он старательно обнюхивал кусты на всех перекрестках, где, по обыкновению, самцы оставляли свои следы: либо откидывали землю задними лапами, либо поднимали заднюю ногу и орошали кусты. Рыжий лис проделывал это с тем большим усердием, чем сильнее чуял дух своего предшественника.

В ту самую ночь, когда Чернушка затыкала, он вторгся в ее охотничьи пределы. Услышав зов лисы, он немедленно от-

правился на поиски. Тщетно попытавшись перейти вброд вздувшуюся реку, он наконец пустился вплавь, хотя ненавидел воду и не любил мочить свою шкуру. Выбравшись на противоположный берег, он отряхнулся и, чтобы скорее обсохнуть, лег на спину и покатался по снегу. Потом он продолжил поиски Чернушки. Не найдя ее, он поднялся на освещенные лунным светом поля, где паслись зайцы.

Решив за ними поохотиться, лис устроил засаду. Он лег и застыл, поджидая, что какой-нибудь заяц подойдет поближе. Но зайцы держались на открытых местах, часто вставали на задние лапы и прислушивались, не отваживаясь приблизиться к меже или кустам. В полночь он оставил их и принялся ловить мышей. Мышкую, он сильно отдалился от леса, соблазняемый то криком петухов в хуторах, то темными оврагами и редкими дубовыми рошицами, в которых прыгали белки, разбуженные теплой погодой. И только когда начало светать, он пошел обратно той же дорогой и попал на свежие следы Чернушки и ее спутника.

Черный лисенок не пропускал ни одного камня, пенька или мало-мальски заметного кустика, чтобы не оставить своей росписи, и красавец лис с легкостью нашел их лежку.

Чернушка заметила его первой. Лисенок вздыбил шерсть, а прищелец остановился и несколько секунд разглядывал их. После этого он самым бесцеремонным образом подошел к Чернушке, весело виляя своим длинным хвостом. Чернушка обрадовалась встрече со старым знакомцем и не прижала уши, как она это делала, когда к ней пытался приблизиться черный лисенок.

Лисенок заворчал и оскалится. Лис тоже оскалил зубы. Чернушка села на задние лапы. Лисенок оцетинился. Верхняя губа поднялась в свирепом оскале и открыла два клыка. Разверстая пасть лиса была как раскрытые клещи. Они пожирали друг друга глазами, каждый старался напугать противника злобным ворчанием. Наконец ворчание их слилось в непрерывный вой, который достиг невероятной высоты. Ни один не желал отступать, и они бросились навстречу друг другу. Гибкие, как змеи, они в мгновение ока сплелись в один большой клубок. Хвосты выписывали в воздухе размашистые дуги, задние лапы рвали и царапали шерсть на брюхе соперника.

Чернушка наблюдала за борьбой совершенно спокойно.

Лисенок захрипел под тяжестью более мощного противника,



но не сдавался. Соперники катались по земле, задевая и ломая кусты. Неожиданно лисенок вырвался и, весь помятый и ободраный, кинулся наутек к реке. Рыжий лис помчался за ним. Он гнал его до самой воды и едва не утопил. К Чернушке он вернулся с клоком шерсти во рту. Выплюнув его, он поглядел вниз, проверяя, исчез ли его соперник, и принялся умываться и вылизывать свою прекрасную шубу. После этого он сел рядом с Чернушкой, вывалил язык и посмотрел на нее. Чернушка с равнодушным видом улеглась под кустом и заснула в полной уверенности, что теперь есть кому заботиться о ее безопасности. Лис тоже лег, но не там, где недавно лежал лисенок, а чуть в стороне.

День они провели на вырубке, не приближаясь друг к другу, как будто их ничего не связывало.

16

Трое следующих суток ими владела неуголимая страсть к скитаниям. Они обошли всю противоположную сторону ущелья — от шоссе до высокого плато, где начинались незнако-

мые леса. Следы их тянулись по краю луговины и круч, по просекам, буеракам и осыпям, но чаще всего они двигались по глубоким глухим оврагам. Чернушка что-то искала, а лис покорно следовал за ней.

Вечерами, перед тем как отправиться в странствие, они вместе выходили на охоту. Лис превосходно ловил птиц и зайцев. Теперь же он вкладывал в охоту все свое искусство, чтобы понравиться своей избраннице. Поймав зайца, он съедал свою долю только после того, как Чернушка уже наелась до отвала. Лис проявлял к пей такое внимание, что ей почти не приходилось ни о чем заботиться. Однако вела она себя по-прежнему не очень-то благосклонно. Ворчала, когда он подходил к ней чересчур близко, вырывала изо рта пойманную мышь и даже кусала, когда ей что-нибудь было не по праву. Лис безропотно покорялся и терпел все.

Снова повалил снег крупными хлопьями и прикрыл начавшую уже подсыхать черную землю. Лес стал легким и чистым. Дни прибывали, и от обилия света снег казался еще белее. Он легонько поскрипывал под лапами лисиц, бежавших при свете продирающейся сквозь пелену высоких облаков луны. В одну из таких ночей они совершили свое последнее странствие далеко вниз по течению реки в места, где Чернушка никогда раньше не бывала.

В ту ночь филин спугнул ворон, ночевавших в скалах напротив сторожки дорожного мастера; они вылетели оттуда всей стайей с тревожным граем и рассыпались потухшими угольками по свинцовому небу, затмившему своими облаками лунный свет. Внизу возле шоссе пес Фокасинова бродил у сараев и выл на луну, потому что и ему надоело одиночество, а в это время его хозяин возвращался в сильном подпитии из деревенской корчмы и, спотыкаясь и шатаясь, молча уминал размякший снег мокрыми царвулями.

Чернушка повела своего спутника на север. Сначала они шли через вырубку, где из снега торчали невывезенные стволы и навалы сучьев, потом миновали угольную кучу и оказались на самой высокой точке предгорий. Дальше горы уходили вверх несколькими волнистыми отрогами. На севере они понижались и пропадали на горизонте. Отроги поросли молодым лесом, вокруг не было ни одного поселения. Место было глухое и дикое, изрезанное множеством неглубоких оврагов, заросших дубом и грабом.

Чернушка спустилась в один из оврагов и обошла его. Она не увидела на снегу никаких следов диких зверей, кроме белых, ни одна тропа не пролегла сквозь заросли кустов. Черную сеть ветвей пробивала скала, уходившая глубоко в землю. Под скалой было маленькое углубление.

Чернушка залезла внутрь и некоторое время оставалась там. Лис ждал, наставив уши и заглядывая под скалу.

Наконец Чернушка вылезла, отряхнулась и села возле скалы. Ей здесь нравилось. Дно оврага было довольно далеко, полая вода сюда не дойдет. Кроме того, пещерка смотрела на юг. Все же Чернушка еще колебалась и долгое время вслушивалась, поворачивая свои черные уши во все стороны. Но все, что улавливал ее слух, не внушало тревоги — поблизости журчал ручеек, с ветвей падал снег, освобождал их от своей тяжести, и они подскакивали вверх. Где-то далеко, там, где темная пелена на небе разрывалась, слышался прерывистый собачий лай; на шоссе, оставшемся к востоку от них, урчал запоздалый грузовик, и фары его выстреливали длинные снопы света, освещавшие белый лес.

Чернушка взглянула на лиса и легла на мокрый снег. Ее товарищ обрадованно подскочил к ней, и они начали играть. Он перепрыгивал через нее, легонько дергал за уши, хватал за шею. Она лежа защищалась, выворачивая голову, чтобы отразить его атаки. Потом вдруг прервала игру и села за скалой. Лис тут же уgomонился. Не теряя времени, полез под скалу и стал рыть мягкую землю...

17

Две ночи лис рыл землю под скалой. Он выкопал длинную нору, в середине расширяющуюся в довольно просторную камеру, и вывел поднорок с другой стороны скалы.

Чернушка была все это время поблизости, но в работе участия не принимала. Иногда лис вылезал из норы, весь в земле, отряхивался и, нежно поскуливая, шел к ней, словно умоляя войти внутрь. Но Чернушка обдавала его холодом. Целый день она лежала на сухом месте под скалой. Снег таял, и в лесу всюду было мокро. Только когда жилище было полностью готово и лис притащил в логово остатки какой-то полусгнившей шкуры, которую он подобрал возле шоссе, Чернушка вошла в нору.

С той ночи она проводила дни здесь, а лис оставался снаружи. Жизнь они вели однообразную. Вечером выходили на охоту и утром вместе возвращались. Через три недели Чернушка перестала покидать логово. Она ждала детей, и лис взял все заботы по ее пропитанию на себя. В зависимости от добычливости охоты раз или два за ночь он приносил пищу, оставлял ее у входа в нору и шел на жировку сам.

Чернушка спускалась на дно оврага, по которому, серебристо журча, протекал ручей, лакала воду своим красным языком и снова возвращалась в нору или ложилась перед ней подышать свежим воздухом.

Снег давно растаял, и лес стоял черный и влажный. Почки на ветвях уже набухли и с каждым днем все больше краснели. Из сырой земли вылезали ростки крокуса, пробивая, словно золотыми шильцами, черную листву. Чемерица и пионы только-только выгнали свои нежные стебельки. От ссохшейся прелой листвы, приплюснутой снегом, как блин, пошел шорох: это пробуждались от зимней спячки насекомые и вылезали из своих норок.

Отяжелевшая Чернушка прислушивалась к этому шороху, лежа на теплом солнышке. Шерсть на ней начала литься, хвост вылез, ленивая истомы наполняла все ее существо. Ей постоянно хотелось спать и постоянно хотелось есть. Уши ее вставали торчком, как только раздавался птичий крик, но она не в силах была шелохнуться даже тогда, когда птица подлетала чуть ли не к самому ее носу.

Последние дни марта тянулись однообразно, похожие один на другой. Дули западные и юго-западные ветры, по небу плыли мутно-белые и серые, еще зимние облака. Свет пробивался из-за облаков, из небесных родников щедрыми снопами спускались на склоны солнечные лучи. То шел теплый дождь, то снова показывалось солнце. В лесу уже появлялись зеленые пятна и разносились весенние запахи.

18

В один из апрельских дней с его благостной послеполуденной тишиной, в которой слышалось жужжание насекомых, когда даже деревья, разнежившись на полном весенней истомы воздухе, совсем притихли, Чернушка услышала незнакомые шаги.

Она дремала возле норы, блаженно растянувшись на теплом солнышке.

Она подняла голову и принялась. По густому подлеску пробиралась волчица. В мгновение ока Чернушка нырнула под скалу. Волчица остановилась, лягнула челюстями и подошла к скале. Сунулась мордой в нору и оскалила зубы. Потом принялась разрывать узкий лаз, и на Чернушку пахнуло омерзительным духом. Это продолжалось целый час. Чернушка бесшумно проползла к поднорку, выглянула и, убедившись, что волчица за скалой, побежала в старые, знакомые места. Путь ее лежал по прогретым солнцем зарослям южного склона, благоухающим фиалками; она пробиралась среди молоденьких золотисто-зеленых листочков и печально оглядывалась назад. Сойки закричали над ее головой. Дрозды со свистом взмыли над лесом.

Снова перед ней предстали весело пенящаяся, по-весеннему зеленая река, красная крыша сторожки, белая лента шоссе. Родные места, которых она не видела целых полтора месяца, были ей больше по душе, чем мрачный, сырой овраг. Она уже забыла про свои зимние беды, про Приходу и его собак. Лес был мирный, пахло сиренью, крапивой и цветущими травами. В кустах порхали птички, певчие дрозды высвистывали свои мелодичные трели, черные — словно ударяли в кастаньеты, а дятлы с такой мелодичностью били по гнилым стволам, что их «та-та-та», радующее их подруг, слышно было далеко-далеко.

Зная, что лис немедленно пойдет ее искать, Чернушка залегла в вырубке, недалеко от скалы, в которой ее запер Прихода. Она была беспокойна, ей не сиделось на месте. Через час она пошла к скалам. Пройдя под ними, она спустилась по синеватым обрывам, отыскивая место для нового логовища.

Среди гранитных камней было сыро и прохладно, и, хотя удобных логовищ здесь встречалось сколько угодно, Чернушка миновала их и вышла в большой дол, где жила ее мать. Она хотела увериться, что старой лисицы нет поблизости, и осторожно двинулась по густому лесу.

Нос ее учуял запах падали. В глубине дола в зарослях кизила Чернушка увидела труп своей матери. Старая лиса умерла зимой от болезни или раны. Тело ее высохло, вокруг валялись клочья шерсти.

Чернушка вернулась и вечером залезла в тесную и влажную нору, где она родилась.



Логово матери состояло из лаза, который внутри расширялся и доходил до подземной скалы. Там было суше, несколько корней свисало с земляного потолка. На полу еще сохранились остатки перьев и шкур, которые натаскала старая лиса.

Чернушка улеглась на них и спустя несколько часов родила четырех лисят.

Это были беспомощные создания, похожие на востроносеньких мышат; их почти не было видно в густой шерсти на брюхе матери. Чернушка вся отдалась материнским заботам, держала лисят у сосков и, когда они сосали, блаженно закрывала глаза.

Ночью лис отыскал логово. Чернушка подняла голову и заворчала. Лис понял, что произошло, и удалился. Через два часа он притащил еще теплого окровавленного дрозда. Оставив его в норе, он снова отправился на охоту. Чернушка не дотронулась до пищи. Четыре мышонка вызывали в ней такую нежность, что ей было не до еды.

Сутки Чернушка не отходила от малышей ни на минуту. Материнство наполняло ее таким блаженством, что она просто обмирала, ощущая, как копошатся у нее на брюхе маленькие слепые комочки. Хотя в норе было сыро, лисята от этого не страдали — их согревала Чернушка.

На второй день она подошла к выходу из норы и нашла там кучку еды, оставленную лисом. Кроме мелких птичек, там было несколько мышей и полуживая сойка. Сойка глядела на нее своими серыми, застывшими от ужаса глазами, и Чернушка поскорее перегрызла ей горло и закусила ее тощим мясом. Съев сойку, она тут же вернулась к слепым лисятам, которые расплозились по норе в поисках ее теплого тела.

Весна наполняла лес ароматом новых листьев, река постепенно, словно в изнеможении, спадала и входила в берега; ветви ив склонились над омутами, в которых сутились юркие усачи — искали место, где им метать икру. По шоссе проезжали телеги, легковые машины, грузовики. Фокасинов давно уже вышел с лопатой поправлять дорогу. Голоса людей, дребезжание телег и рев машин весь день оглашали ущелье, а Чернушка по-прежнему жила в своей темной норе. Лишь иногда она выбиралась из нее, бежала на дно лога и жадно лакала воду.

Лис регулярно приносил ей свою добычу и покорно оставлял ее у входа в нору. Внутрь Чернушка его не пускала, боялась, что он съест детей. Но когда у них прорезались глаза и они начали вставать на свои тоненькие ножки, Чернушка стала впускать в нору отца, и дождливые дни он проводил со всем семейством.

Лисята начали играть — сперва с хвостом матери. Хвост ходил из стороны в сторону, и лисятам это представлялось очень забавным, они его подстерегали и кидались на него; потом стали играть между собой. Глаза, которые позже должны были стать желтыми, сейчас были синие, а непомерно большие уши делали лисят очень смешными. Уши росли быстрее, чем все прочие части тела, и всё больше торчали над их широкими лбами, и лисята то и дело старались их почесать. Не менее забавными были и длинные мордочки, остренькие и тонкие.

С каждым днем лисята становились проказливее. Им уже не хотелось сидеть в тесной норе, и они начали делать попытки выглянуть из нее. Но внешний мир пугал их. Высунув голову из

норы, лисенок замирал, усиленно шевелил своими большими ушами и моргал младенчески-синими глазами. Дальше он не решился ступить и шагу. Чернушка позволяла детям ходить по норе, где им хочется, но, когда кто-нибудь из лисят слишком долго задерживался у выхода, она звала его назад, а самых непокорных брала в зубы и водворяла обратно.

Иногда возле норы появлялась белка или белодушка. Чернушка сразу чувствовала близость зверя и вся настораживалась. Слух у нее сейчас был еще острее обычного.

Когда лисят пошла четвертая неделя и они достаточно окрепли, их уже ничто не могло удержать в норе. Отец теперь приносил им живых птичек и грызунов. Он нарочно не убивал их до конца и отдавал их лисят, начинавшим жестокую борьбу с беспомощными зверьками. Самыми продолжительными и веселыми были игры с мышами. Чернушка и лис были тут же. Жертву отпускали, она пыталась спастись бегством. Лисята бросались на нее, но движения у них были неточные и неуверенные. Игра длилась до тех пор, пока мышь не забивали. Если ей удавалось выскользнуть из лап малышей, отец или мать снова ее ловили и возвращали на арену. Чернушка показывала лисят, как надо прыгать. Она делала длинный и красивый прыжок, не задевая мыши лапами. Лисята старательно ей подражали.

На лесных полянах появились майские жуки, очень понравившиеся лисят. Мать выводила их теперь под вечер, когда стада уходили и пастушьи дудки смолкали. Тяжелые жуки проносились низко над землей, растопырив свои светло-желтые лапы. Лисята ловили их на лету и мгновенно проглатывали — это было их любимое лакомство. В это время Чернушка оставалась с лисятами одна, так как отец уходил на охоту.

Позднее она стала водить детей на поля, чтобы уже по-настоящему выучить их ловить мышей. Однажды в теплую июньскую ночь она повела их по тропинке, по которой когда-то сама ходила со своими братьями и сестрами учиться охотиться на мышей. До поля было довольно далеко, и семейство двигалось с большими предосторожностями. Малыши следовали за Чернушкой по пятам. Поблизости мелькнул козодой, какая-то птичка испуганно вспорхнула из-под самого их носа. В темном лесу зашелестел вечерний ветер.

Когда семейство добралось до поля, оно было уже ярко освещено лунным светом. Высокая рожь казалась серебряной, по ней

волпами пробежали серебристые блики луны. Над колосьями вспыхивали и гасли фосфоресцирующие огоньки светляков. Трава на межах издавала резкий запах, от которого в носу щекотало.

Чернушка залегла в траву и стала слушать. Какой-то зверь направлялся прямо на них.

Вот он подошел к краю поля. Шум затих и начал отдаляться.

Чернушка поднялась, высоко прыгнула и исчезла в серебристом море ржи. Скоро лисята увидели, что мать сражается с хорьком. Хорек пищал и метался. Лиса яростно на него набрасывалась. Хищный черный зверек отвечал ей тем же. Она била его лапами, но схватить не решалась.

Появление лисят смутило хорька. Он попробовал улизнуть. Чернушка воспользовалась смятением противника и ухватила его зубами за спину. Хорек запищал, извернул свое гибкое тело и вцепился когтями ей в морду. Чернушка разжала зубы. Хорек попытался, сделал несколько прыжков и запищал еще жалобнее. Теперь он уже не осмеливался показывать спину, боялся, что лиса снова его схватит, и, сжавшись в комок, приготовился дорого заплатить за свою жизнь. Но Чернушка оставила его в покое. Запах хорька был ей отвратителен. Она вообще никогда бы на него не польстилась, если бы с ней не было лисят.

Она отвела детей на другой конец поля. Там семейство наткнулось на ежа. Тот немедленно свернулся в клубок, выставив все свои иголки. Лисята искололи себе лапки, а мать тщетно старалась ухватить его за брюшко, где тело ежа не защищено иголками. Наконец она бросила его, но лисята успели получить хороший урок — кое-кто шел прихрамывая.

Едва начали ловить мышей и лисята рассыпались по высокой волнующейся ржи, как над ними нависла бесшумная тень. Один лисенок заверещал. Громадная птица, взмахнув своими широкими крыльями, полетела к лесу. Чернушка бросилась за птицей, но только и увидела, как филин уносит ее дитя...

В конце июня лис не устоял перед искушением и снова пошел красть цыплят у Фокасинова. В прошлом году он истребил цыплят у двух наседок, которых дорожный мастер посадил на

яйца ранней весной. Осенью он учуял капкан и перестал навещать сторожку, но теперь все внимание его снова было приковано к лакомой домашней птице.

Виноваты в этом были лисята. С каждым днем они становились больше и соответственно рос их аппетит. Лис отдавал им большую часть своей добычи, оставляя себе или совсем немного, или вообще ничего, так что в конце концов постоянно ходил голодный. Охота в конце месяца была не очень добычливая: зайцы скрывались в заколосившихся полях и густом кустарнике, дух от них шел необыкновенно слабый, особенно от зайчих, а зайчата были так здорово упрятаны, что в овсе или пшенице их было не найти. Буйная растительность скрывала все, по утрам роса смывала любые следы, и даже ловить мышей стало трудно. Охота на кур не была осложнена этими затруднениями, и лис начал все чаще наведываться в сторожку.

Двор этим летом был вспахан. Между фруктовыми деревьями зеленела люцерна, возле колодца было разбито несколько грядок с помидорами. Днем по люцерне ходили нахохлившиеся, взъерошенные квочки со своими цыплятами и отгоняли от них кур и петуха. Во дворе часто появлялась молодая женщина в белой косынке и мотыгой рыхлила грядки. Лис видел ее и на рассвете, когда она, босая, несла по тропинке ведро с болтушкой для свиньи, видел вечером, когда она сидела рядом с Фокасиновым перед сторожкой, где стоял стол из свежееотесанных досок и скамья. Дорожный мастер весной женился и теперь часто заводил патефон, чтобы повеселить жену.

Дом был побелен, чистые окна сверкали, у тропинки не видно было, как раньше, ни сора, ни золы. Не видно было и собаки. Жена Фокасинова прогоняла Перко, и он убегал за сторожку, где находил в густых кустах прохладу и покой.

— Чего ты на него взъелась? — спрашивал дорожный мастер, когда видел, что жена бежит за собакой.

— А он у меня брынзу сожрал. Забыл? — сердилась она.

— Ну и злопамятная же ты! Съел кусок брынзы, подумаешь, большое дело! Пусть и собака пользуется благами человеческими. Не бей животное, тебе говорю, не то я тебя так вздую!

— А ну попробуй, я посмотрю! — вскипала жена.

— И-ах! — весело говорил Фокасинов и своей сильной рукой шлепал жену по крепкой спине.

Та злилась, чуть не плакала, а он смеялся.

Однажды вечером они ушли в село. Метис поплелся за ними в некотором отдалении, так как боялся жены хозяина. Лис схватил петуха и отнес лисятам. С того дня цыплята пошли исчезать один за другим. Лис прятался в пышно разросшихся кустах ежевики и поджидал, когда какая-нибудь глупая курочка или петушок забредут к нему в ежевику.

Голодный и гонимый хозяйкой Перко ничего не слышал и не хотел ничего, кроме куска хлеба, — ведь хозяйка почти совсем его не кормила. Он уходил на дорогу или печальный лежал в кустах за домом. За две недели лис утащил с десятков цыплят, которые очень пришлись по вкусу Чернушке и лисятам.

Фокасинов снова начал ставить во дворе капкан. Но маскировал он его плохо — прикроет только сверху сухими листьями и землей, получалось уже издали заметное возвышение, — и лис легко его обходил. К концу месяца цыплят стало совсем мало, а однажды утром в капкан угодил Перко. Острые зубья дуг едва не раздробили ему лапу. Фокасинов вытащил несчастную собаку, которая визжала на всю округу, отругал жену, посадил пса на цепь, накормил его и пошел на кооперативный огород искать Приходу.

После полудня он привел Приходу. Прихода был в синем рабочем комбинезоне, он похудел и загорел. Оглядев двор и расспросив кое о чем, он сразу направился к кустам ежевики.

— Может, хорек, — сказал он, бросив взгляд на низкий густой подлесок. — Если хорек, его поймать нетрудно. Он далеко с добычей не уходит. Но вряд ли хорек. Места не те.

Заглянув в ежевику, он тотчас понял, в чем дело.

— Видишь перья? — торжествующе воскликнул он. — Лиса это, ни дна ей, ни покрывки!

— И я думаю, что лиса, — сказал дорожный мастер. — Но какая дьяволица, и капкан ее не берет! Не то что та черненькая, которую я прошлый год упустил.

Прихода покачал головой, загадочно поджал нижнюю губу и, почесав затылок, озабоченно сказал:

— Слушай, Панталей! Это та самая лисица... Я ее знаю. Значит, я ее тогда не убил, только ранил... — И, напустив на себя страшную важность, добавил: — Была б это другая лиса, плевал бы я на твоих цыплят. Летом лисы меня не волнуют. Но с этой я помогу тебе справиться. Тащи капкан.

Фокасинов подтащил капкан, ухватившись за проволоку, которая была к нему привязана.

— Дай нож,— распорядился Прихода.— И убери проволоку, зачем ты ее привязал!

Дорожный мастер взялся отвязывать проволоку, но Прихода забрал у него капкан.

— Принеси нож!

Фокасинов пошел выполнять его распоряжение. Прихода остановил его:

— Слушай, а у тебя есть какая-нибудь рыба?

— Рыба? На что тебе рыба?

— Не твоя забота. Если есть, принеси.

— Хамсы немного есть...

— Прекрасно, тащи ее!

— Что ты будешь с ней делать?

— Увидишь,— сказал Прихода, положил капкан на землю и пошел в заросли.

Пока Фокасинов ходил домой, тот открыл чуть заметную тропку, которую уже успел проложить лис. На ней валялось много перьев. По этой тропке лис тащил украденных цыплят.

— Ну, теперь я тебя проучу! — пробормотал Прихода и вернулся в заросли ежевики.

Тут тропка кончалась, но среди переплетения колючих ветвей ясно различалось место, где лежал и подстерегал свою добычу лис.

Прихода выбрал место для капкана и поглядел в сторону сторожки. Фокасинов размахивал ржавым солдатским ножом, а жена его несла в миске рыбу — ей было интересно, что они собираются делать.

Прихода взял нож и, приказав принести пустой мешок, начал копать сырую землю. Жена Фокасинова поспешила к дому.

Вырыв гнездо для капкана, Прихода собрал землю в мешок и передал его Фокасинову.

— Землю отнеси подальше. Чтоб не видно было, что копали,— объяснил он.— А теперь давай кашкан.

Через несколько минут капкан был поставлен в углубление, настороженные дуги умело замаскированы травой и листьями ежевики. Прихода разбросал вокруг хамсу и наставническим тоном сказал:

— Чтоб никто здесь не ходил!

— Ага, теперь понимаю! — кивнул головой Фокасинов и усмехнулся: — Сейчас ей уже не уйти, а?

Отвечать на такой вопрос Прихода счел ниже своего достоинства.

— Выпьем по одной, и я пойду,— сказал он.— Найдется у тебя?

— Найдется.

Жена дорожного мастера вынесла ракию и два стаканчика. Мужчины выпили за то, чтобы скорей поймать лису, и расстались.

— Завтра утром приду поглядеть, как дела,— сказал Прихода.— Возле капкана не ходи, следы останутся,— добавил он и зашагал по белой дороге, на которую падала короткая тень леса.

21

К пяти часам дня весь западный склон ущелья погрузился в тень. Тень дошла до шоссе, накрыла сторожку и продолжала ползти дальше, к противоположному склону, где еще ярко светило солнце. Мирная тишина воцарилась на тенистой стороне ущелья, из оврагов повеяло прохладой. Плеск воды в реке стал напевным, на белой ленте шоссе не дребезжала ни одна телега, словно все затаилось в ожидании июньского предвечерья.

Лис лежал недалеко от норы, в овраге под скалами, где было холодно и не досаждали мухи. Его хитрые глаза вглядывались в противоположный, еще освещенный солнцем склон. Там паслось стадо коз. Козы шли медленно, рассыпавшись по низкому лесу.

Довольно долго лис шевелил своими черными ушами. Пора было выходить на охоту.

В последнее время лис начал сторониться своего семейства. Хотя он все еще продолжал приносить большую часть добычи лисятам и по-прежнему педоедал, теперь он приходил к ним неохотно и не интересовался больше их играми.

Полежав еще несколько минут, он встал, отряхнул свою вылинявшую шкуру и пошел к сторожке.

Двигался он осторожно, боялся, как бы его не заметила какая-нибудь сойка, избегал открытых мест и выбирал самые заросшие тропки. Так он добрался до букового леса под вырубкой. Тут он всегда останавливался и, прежде чем спуститься вниз, долго слушал.



Крыша сторожки виднелась среди белых стволов бука. Во дворе поднимался синеватый дым — жена Фокасинова готовила ужин — и пропадал в зелени леса.

Собаки не было слышно, никаких опасных звуков не доносилось.

Лис спустился по своей тропке и вышел к вырубке. Тут он в удивлении остановился: в воздухе носился запах рыбы. Возле реки во время половодья ему не раз попадалась мертвая рыба, но сейчас он учуял рыбий запах далеко от реки. Он пошел дальше по тропке и скоро увидел несколько рыбешек. Хамса была очень соленой. Есть ее лис не стал. Осторожность его усилилась. Запах несся со всех сторон.

В ежевике он нашел еще несколько серебрившихся рыбешек. Лис лег и пополз на брюхе среди колючих ветвей, стараясь не производить никакого шума и не шевелить их. Вдруг его передняя лапа коснулась чего-то холодного и твердого. В тот же миг это что-то подскочило, точно вырвалось из земли, и, сухо щелкнув, больно стиснуло его переднюю лапу... Боль была страшной, но лис не издал ни звука. Он по-кошачьи выгнул спину и попытался вытащить лапу. Это причинило новую, еще более страшную боль. Лапа была перебита чуть ниже коленного сустава. Она бессильно повисла, из нее капала кровь. Шипы на дугах прорбили кожу и вонзались в лапу, как зубы.

Лис вывалил язык, от боли он тяжело дышал, бока ходи-

ли ходупом. Изо рта потекла слюна. Лапу жгло каленым железом.

Со двора доносилось квохтанье кур и пыхтенье свиньи, паслаждающей вечерней прохладой, стук кастрюль, которые хозяйка мыла возле дома. По шоссе проехала телега, и кто-то громко поздоровался. Потом профырчал грузовик и поднял облака пыли.

Боль стала нестерпимой. Лис скорчился возле капкана. Залаяла собака. Видно, его учуяла. Лис попробовал волочить капкан за собой, но он оказался слишком тяжелым, хоть и не был привязан. Тогда лис зубами перекусил зажатую капканом лапу...

Кровь залила железо. Она продолжала лить и на тропке, на которую лис поднялся на трех лапах. Он не решился идти зарослями, так как кусты и трава задевали рану, и пошел лесной дорогой, а потом краем поля. Сойки заметили его и закричали. Наконец он доплелся до обрыва, забрался в холодные камни и началлизывать рану, чтоб остановить кровь...

Наутро во двор сторожки вошел Прихода. Было еще рано, и Фокасинов спал.

Кликнув его и не получив ответа, Прихода направился к зарослям ежевики. Увидев захлопнувшийся капкан, он нагнулся и вытащил его из ямы. На сомкнувшихся дугах висела черная окровавленная лапа, мокрая от обильной росы...

Прихода поглядел на нее расширившимися от удивления глазами, сокрушенно вздохнул и, громко выругавшись, неопределенно покачал головой, то ли поражаясь случившемуся, то ли досадуя на неуспех своего предприятия. Потом, волоча за собой капкан, пошел будить Фокасинова.

22

Несколько дней лисята недоедали и заметно похудели. Чернушка забыла своего друга. Теперь все заботы о пропитании детей легли на нее.

Она водила их по незнакомым местам, позволяла во время охоты отдаляться от себя. На день лисята залегали отдельно друг от друга в низком лесочке у норы. Лежку каждый выбирал по своему вкусу — так они готовились к самостоятельной жизни. Они уже почти не играли друг с другом и не раз грыз-

лись над добычей. Чернушка продолжала их учить подстерегать добычу и прыгать, но теперь уже делала это скорее для своего удовольствия, а не для того, чтобы показать им, что такое хороший прыжок. Иногда она съедала пойманную мышь сама, даже отходила с ней в сторонку, чтобы дети не вырвали ее у нее изо рта. Материнский инстинкт постепенно угасал в ней.

Через неделю после исчезновения лиса Чернушка отправилась по своему старому ночному пути к деревенькам и хуторам. Наступила пора жатвы, и на равнине среди желтого моря появились первые стерни, колкие, как щетки. Ночью сюда выходили мыши собирать ячменные зернышки, цикады трещали без передышки. Зайцы покидали пшеничные поля и переходили на поспевающую кукурузу. Чернушка пристрастилась охотиться на зайцев. В это время года молодые зайчата выходили на стерню, и там Чернушка выслеживала их и хватала. Она съедала свою добычу и, досыта наевшись, остатки относила лисятам. Если удавалось поймать еще что-нибудь, а она была сыта, то эта добыча тоже перепадала лисятам. Утром лисята встречали ее радостно, обнюхивали ее морду, словно пытались угадать, что она ела ночью. Чернушка не отталкивала их, но все же старалась уклониться от лобызаний — ей хотелось покоя. В ее желтых глазах все чаще можно было прочесть равнодушие, а во взгляде уже не сквозила бывшая материнская озабоченность.

Лишь в дождливые дни, когда раскаты грома, казалось, разрывали небо, когда грохот и треск заполняли каждый уголок ущелья, а проливной летний дождь хлестал по листьям, низвергаясь на лес мощными струями, все семейство собиралось под скалой, и тогда как будто снова возвращалась прежняя привязанность. Внизу стремительно наполнялась и ревела река, по всем ложбинам бежали мутные потоки. Вершины завлакивало туманом. Как только дождь прекращался, выползали из своих затопленных нор улитки и мыши. Лисята разбегались по лесу и досыта наедались, а Чернушка спешила к реке, по которой, случалось, плыли погибшие птицы или домашняя живность.

В одну из таких ночей возле реки ей повстречался лис. Красоты его как не бывало, он стал тощий и облезлый и походил на запаршивевшую собаку. Рана на лапе заросла, но хватать добычу он уже не мог и питался только насекомыми и па-

далью. Надежда набрести на какую-нибудь пищу и привела его к реке.

Чернушка только взглянула в его печальные глаза и пошла вдоль берега. Лис последовал за ней и, когда в корнях дерева она поймала тучного полчка, попытался отнять его. Чернушка заворчала, взяла добычу в зубы и убежала. Расправившись с полчком, она продолжала свой ночной путь к излучине реки у моста.

Чернушка и сама очень исхудала; ее постоянно мучил голод, и она совсем перестала заботиться о пропитании детей. Они раздражали ее, с каждым днем ее неприязнь к детям становилась сильнее. Она гоняла их по лесу, не подпускала к себе, даже не разрешала им подходить к скалам. Правда, теперь в лесу еды было вдоволь. Июль кончился, созревали дикие плоды, кузнечики прыгали на каждом шагу, мышей ловить было просто. Лисята могли прокормиться и сами, не отнимая еду у матери, но в Чернушке с новой силой пробудился животный эгоизм. Больше она не подпускала лисят к себе даже в холодные, дождливые дни.

К середине августа она совсем забыла своих детей. Днем жара становилась нестерпимой, скалы накалялись, из лесу тянуло сильным запахом преющих листьев, но в глубоком тенистом лого было прохладно. Утром Чернушка сытая приходила в лог, устраивалась под скалой, обросшей зеленым мохом, устало растягивалась и блаженно дремала. Иногда от избытка сил она играла собственным хвостом. Шерсть на ее шкуре перестала вылезать, уже появлялась новая, по-прежнему грязно-серого цвета, а рыжие брови становились все ярче. Она окрепла и начала толстеть.

Трое лисят боялись матери и грызлись между собой. Каждый определял для себя область, где он будет жить и где охотиться. Чернушка отогнала их уже далеко от родных мест.

Однажды вечером ей повстречался в поле самый крупный лисенок, и она гналась за ним до самой сторожки. Во дворе сидел Фокасинов и пел при тусклом свете луны. Перко услышал шум в лесу и залаял. Чернушка бросила лисенка и вернулась назад. Лес спал. Над ним мерцали крупные августовские звезды. Чернушка пошла в поле. Стерня была еще теплая, звенели чижады.

Отсюда видна была большая часть ущелья. На мрачные

вершины и дремлющие леса лился лунный свет. Далекими и словно незнакомыми казались места, в которых она провела год своей жизни со всеми его бедами и муками. Тут ей было суждено жить и дальше — кто знает, долго ли, может быть, и не очень долго, если Приходе удастся ее убить.

Чернушка посмотрела на равнину, где поблескивали огоньки деревень, и пошла к ним своим вкрадчивым, бесшумным, змеиным ходом.





ВЕСНА В ЯНВАРЕ

ДЕД МИРЮ

Когда мне исполнилось двенадцать лет, я получил от старшего брата подарок — маленький дробовик.

Из этого ружья можно было убить ворону, но не дальше чем с шестнадцати шагов, или подстрелить мелкую птицу. Я целился во все предметы и в доме, и в саду, подстерегал стаи скворцов, опускавшихся на вишни, молодых галчат, золотых иволг, тяжелых сизых воронов или стрелял по мишеням. Толстые доски сарая скоро покрылись сеткой трещин и дырочек от моих выстрелов.

Я мечтал попасть на настоящую охоту и все придумывал, как бы мне осуществить эту мечту. Охотничьего билета у меня

не было, и получить его я не мог — был еще слишком мал, — поэтому я боялся выходить со своим ружьем со двора: еще поймают в лесу как браконьера. Надеяться я мог только на одного старика, которого все мы, дети, страшно уважали. Он жил в конце нашей улицы, недалеко от оврага, и звали его дед Мирю. Дед Мирю был высокий-высокий, у него была редкая борода, широкий нос и ястребиный взгляд. Когда он улыбался, вокруг глаз его собирались морщинки.

Дед Мирю жил со своей старухой довольно уединенно — три их дочери и двое сыновей обзавелись своими семьями и уехали из нашего городка. Старик был охотник, рыболов и птицелов; кроме того, он драл лыко, собирал целебные травы и подряжался резать свиней. Среди разнообразных его занятий были и незаконные — он тайком холостил поросят, лечил лошадей. Зимой он носил громадные сапоги, латанные-перелатанные, но всегда щедро смазанные каким-то жиром, летом ходил в разношенных грубых башмаках, из которых высывались его крепкие лодыжки. На самые глаза он нахлобучивал желто-зеленую охотничью шляпу с большой бляхой на ленте. Эту шляпу, прятавшую его седые кудри, дед Мирю носил с незапамятных времен, и ей, видно, не было износу. В жаркие летние дни, если не было под рукой другой посуды, он поил из нее собак, бил ею шершней, раздувал огонь в костре, в нее же клал убитую птицу. Этой же шляпой ему не раз случалось затыкать беличье дупло или хорьковую нору. Откуда он раздобыл себе такую шляпу, никто не знал. Кроме шляпы, деда Мирю отличало от других жителей городка и то, что он никогда не надевал полубубка. Даже в самые холода он носил пиджак домашнего сукна, из-под которого виднелась толстая серая фуфайка, связанная сухими пальцами его старухи. Все дрожат и бегут по улице, спасаясь от колющего морозца, только дед Мирю в громадных своих сапогах шагает спокойно и легко — борода и усы у него заиндевели, а из большого носа вылетают облачка пара и табачного дыма...

Особенно внушительно выглядел он, когда шел на охоту. На плече у него висела тогда длинная двустволка стволами вниз, с большими курками, кривыми, точно козьи рога. Смотря по сезону и по погоде, старик брал на охоту или знаменитую на весь город Зымку, помесь пойнтера и сеттера, или двух гончих — Мурата и Волгу.

Мурат — крупный кобель, прожорливый, как сказочный

дракон (однажды он стащил прямо из печи целый каравай), а Волга — красивая черная сучка с желтыми пятнами над милыми смешливыми глазами, которые, правда, становились серьезными и даже злыми, как только хозяин выводил ее на охоту.

Старик медленно, широким шагом подымался вверх по склону оврага, и его высокая, прямая фигура, постепенно выраставшая на фоне неба, казалась фигурой какого-то великана. Возвращался он еще более величественным, особенно если через потертую кожаную сумку бывала перекинута красная, как огонь, лисья шкура и лисий хвост покачивался на ходу...

Вот на деда Мирю я и возлагал все свои надежды и в один прекрасный летний день, не выдержав, решил пойти к нему домой, показать свой дробовик и попросить его взять меня на охоту.

Я толкнул низкую калитку и очутился в просторном дворе, поросшем зеленой травкой, изрядно ошипанной ослом, с пятнами тени от старых яблонь и груш. Дед Мирю сидел у своего приземистого домика и чинил седло. В руках он держал кривое шило и большую иглу и готовился приладить к седлу кожаную латку. Старуха его расстилала для просушки два мокрых половика. Рядом со стариком, вытянувшись во всю длину, лежала Зымка. Она подняла голову, вскочила и залаяла.

— Зымка, фу! — сказал дед Мирю, и собака покорно вернулась на место.

Когда старик заметил у меня в руках ружьецо, в глазах его загорелось любопытство. Он внимательно посмотрел на ружье, но иглы не отложил и продолжал работать.

— Ну, иди, иди сюда, — ласково подозвал он меня и добавил: — Это ты палишь на весь околоток? Больно громко! Целыми днями — бах, бах! Что же ты бьешь из этого ружьишка?

— Все, — ответил я гордо.

— Вот как? Сколько ж ты волков убил?

— Трех воронов убил, — сказал я смущенно и стал нахваливать свое ружьецо.

Дед Мирю взял его в руки, приложил приклад к своему широкому плечу и, прищурившись, во что-то прицелился. Зымка наставила уши и внимательно посмотрела в ту сторону. В больших руках старика мой дробовик казался прутиком.

— А патроны у тебя есть? — спросил он.

Я вытащил из кармана маленькие патроны с синими бумажными гильзами над широкой медной головкой и подал их ему. Они почти затерялись в его толстых пальцах.

— Для мелкой птицы годятся, а ворона не возьмешь,— сказал дед Мирю.

Я вспыхнул от стыда. Действительно, сколько я ни палил по воронам, до сих пор не убил ни одного, но мое охотничье самолюбие заставило меня придумать, будто я убил уже трех.

— А патронов с пулями у тебя нет? Из этих ружей и пулями можно стрелять,— сказал старик, на которого мое вранье не произвело ни малейшего впечатления.

— Есть,— ответил я и протянул ему мелкие медные чашечки, из которых наполовину высывались круглые пульки.

— Поди нарисуй отметину на курятнике, посмотрим, как бьет твой пугач,— сказал дед Мирю и показал мне на пустой курятник. Рядом с ним был навес, в тени которого лежали обе гончие.

Я нарисовал углем на двери курятника черный кружочек.

Старик быстро прицелился и выстрелил. Пулька ударила на сантиметр выше цели. Мурат и Волга залаяли, а Зымка кинулась к курятнику и принялась обнюхивать все вокруг.

— Дай еще патрон,— сказал старик, вглядываясь в мишень.

Второй выстрел тоже оказался неточным. На этот раз пулька ударила выше и левее отметины.

— Неточно бьет,— заключил дед Мирю. Он открыл затвор, повернул ружье дулом к себе и заглянул внутрь.— Нарезки нет. Вот и относит дробь в сторону. Но для мелкой птицы это не помеха,— добавил он.

После этого заключения дробовик сразу померк в моих глазах. Он не годился для великих охотничьих подвигов.

— А зайца нельзя из него убить? — спросил я.

— Можно. Да и волка можно — посмотри, как он доску пробил,— но только неточно бьет, вот что плохо.

Гончие, растревоженные выстрелами, продолжали лаять и скулить. Зымка безостановочно махала обрубок хвоста и пристально следила за каждым нашим движением.

Старик снова взял ружье, прицелился и нажал на спуск. Щелкнул ударник.

— Так-то оно прикладистое,— сказал он и стал учить ме-

ня, как правильно держать ружье и как целиться. — Дай левую руку. И не держи долго на цели. Как только мушка коснется цели — спуск! — советовал он мне.

Никакая дружба не завязывается так быстро и непринужденно, как дружба между стариками и детьми, особенно когда у них находятся общие интересы. Через полчаса мы пришли к согласию по всем вопросам, если не считать моего дробовика. Старик обещал брать меня на охоту, давать мне поносить свою сумку и доверять собак. А про ружье сказал, что я могу прихватывать его иногда, от случая к случаю, когда он мне разрешит.

— Сезон пока не открыт, — добавил старик. — Целый месяц еще ждать, но я возьму тебя ловить рыбу. Будем ловить на удочку усачей, и я покажу тебе, где больше всего садится голубей и вяхирей. Глядишь, и подстрелишь какого из своего пугача, если сядет недалеко, — закончил он и снова взялся за ослиное седло, а осел в это время пощипывал травку в дальнем конце двора.

Бабка принесла мне целую тарелку вишен. Я подошел к окошку и сквозь маленькие стекла жадно стал рассматривать висевшую на стене длинную двустволку. Она висела наискосок на оштукатуренной стене. К гвоздю был еще прицеплен ветхий патронташ с разноцветными патронами — зелеными, красными, желтыми, и латунный рог, скрученный, как баранка, и поблескивавший в полутемной комнатке. Как мне хотелось зайти туда, коснуться оружия, овечьего охотничьей славы, опоясаться тяжелым патронташем, потрубить в рог!

Вдруг над моей головой, там, где над стеной нависала широкая стреха, забился перепел, и я вздрогнул от неожиданности. Маленькая серая птица сидела в проволочной клетке, и я до сих пор не замечал ее.

Я долго смотрел то на ружье, то на перепела, шебаршившего в клетке, и все старался навести старика на какую-нибудь охотничью историю. Но он занялся седлом и, усмехаясь в свои седые усы, ловко отклонял мои хитрые намеки.

— Поди пригони сюда осла, а то как бы он не забрался на соседский двор и не принялся там за тыквы, — сказал он наконец, увидев, что никак не может отделаться от моих расспросов.

Вечером я вернулся домой, исполненный самых радужных надежд. Ночью я почти не спал. Я представлял себе, что я уже

настоящий охотник, и мечтал о том, как я буду стрелять всякую дичь, разумеется, вместе с дедом Мирю, которому я уже был предап душой и телом.

ВЫДРЫ И ФИЛИН

Уже несколько раз случалось мне таскать на спине тяжелую сумку с мережей, высоко и осторожно держать удилище и шлепать по мелкому дну нашей чистой горной речки, теплая вода которой приятно щекотала босые ноги.

Пока дед Мирю закидывал сеть, я ловил кузнечиков для наживки, копал червей, купался или играл с Зымкой, всегда сопровождавшей нас в этих походах. Вместе с ней мы следили за полетом какого-нибудь зимородка. Зеленая блестящая птица, скользнув над самой водой, садилась у берега и терпеливо поджидала, не мелькнет ли в воде неосторожная рыбка, и тогда тут же ныряла и хватала ее клювом. А мы все бежали за птицей, чтобы еще и еще раз увидеть, как она расправит свои зеленовато-синие, точно изумрудные, крылышки, как сверкнет ими на солнце подобно драгоценному камню и полетит низко над самой рекой. Еще мы подстерегали водяных дроздов или камышников, как их называл старик. Они внезапно исчезали в воде, словно утопленники, спокойно расхаживали в поисках пищи по песчаному дну, а мы с Зымкой наблюдали за их движениями и удивлялись, как это они столько времени выдерживают в воде, без воздуха. Эти водолазы с белыми грудками одинаково хорошо чувствовали себя и в воде и в воздухе. Сядет какой-нибудь из них на мокрый камешек, возле которого пузырится белая полоска пены, оглядится кругом и — хоп! — уже скрылся под водой. Ждешь минуты три-четыре, не покажется ли маленький водолаз, ждешь, бывает, и дольше, а он вдруг вынырнет далеко-далеко от того места, где ушел под воду. Вспорхнет как ни в чем не бывало и продолжает свое подводное и воздушное путешествие вниз по течению теплой, весело журчащей речушки, что вьется между большими синеватыми глыбами камня, нагретыми июльским солнцем. На обоих берегах — тенистые леса, подальше зеленеет кукуруза, весело смеются подсолнухи, желтеет колючая, как щетка, ячменная стерня. Дубравы кажутся серыми от жары. Оттуда доносится воркование диких голубей, и мы с Зымкой все чаще поглядыва-

ем туда. Река наполняет воздух запахом тины и влаги. Большие зеленоватые лягушки с золотыми глазами молча высовывают головы из воды и блаженствуют под жаркими лучами послеполюденного солнца, лишь изредка тихо квакая от наслаждения. А далеко на юге синеют горы, окутанные маревом, точно мираж...

У деда Мирю был свой способ ловить рыбу мережей. Прежде всего он «подкармливал» рыбу, то есть накануне вечером сыпал крупу или жмых в заранее намеченные места, а на другой день шел туда с сетью. В этих местах обычно на дне лежали камни, и старик накрывал их мережей. После этого я брал прут и шарил им под камнями. Напуганная рыба покидала свои убежища и сама входила в крылья сети. Так мы избавлялись от утомительной необходимости закидывать сеть, а мешок наш быстро наполнялся.

Хорошо посмотреть, как вытаскивают на берег сеть, как среди сора и водорослей прыгает, сверкая, точно серебро, пойманная рыба, но в сто раз лучше ловить на удочку! Забросишь ловко насаженного на крючок червя и сидишь, не отрывая глаз от поплавка. Ждешь, когда он начнет подрагивать и уходить под воду, следишь за ним неотрывно и ни о чем другом не думаешь. Где-то там, недалеко от берега, плывет усач, ищет на дне пищу, водит усами, медленно изгибает свое тонкое тело, двигает хвостом. И вот он видит твоего червяка. Червяк лежит на дне и чуть-чуть шевелится. Усач прожорлив, но все же побаивается, оглядывает насадку, колеблется... Но вот червяка заметил другой усач и стрелой кидается к нему, чтоб опередить первого. Тогда и первый решается, широко разевает рот и проглатывает наживку. Поплавок уходит под воду, а по удилищу словно кто-то стучит телеграфным ключом. Дергаешь удочку и сразу чувствуешь тяжесть на конце лески, и вот уже, сверкнув в воздухе, к тебе летит твоя добыча. Плавники ее трепещут, точно крылышки большой пчелы. Бросишь ее в корзинку и слушаешь, как она там поскрипывает чешуей... И снова забрасываешь...

Другое дело — клень. Он ест мальков, ест кузнечиков, ест головастика. Не отказывается и от трутней. Он хищник и в отличие от усаха не плавает по-над дном, а ищет добычу в водоворотах и любит глубокие омуты. Бросишь ему хорошего кузнечика с кирпично-красными крылышками, и клень кидается на него, как собака, хватая его, но, лишь почувствует

острие крючка, тотчас выплевывает — и в сторону. Поэтому нужно быстро подсекать, то есть быстро дергать удище вверх, и вот клень перед тобой — выпучил золотые глаза и весь вытянулся, как солдат в строю. Кладешь его в корзину, и он подает из крапивы голос: кин! кин! кин!

Старик научил меня забрасывать удочку и, как он говорил, определяться «по дну», то есть разбираться, какое где дно и где тут может плавать усац, а где играть клень. И я так увлекся всем этим, что уже ничего не видел вокруг себя, кроме поплавка и воды...

Однажды, расправляя мережу и выбирая из нее налипшие водоросли и сор, дед Мирю взглянул в сторону запруды и сказал мне:

— Хочешь узнать, как серая цапля ловит рыбу? Вон видишь, торчит, как кол. Пробрись поближе, только осторожно, прячась вон за теми вербами. Кстати посмотрю, сумеешь ты ее не спугнуть или нет. Она, чертяка, зоркая.

Большая серая цапля стояла на нижнем краю запруды, обросшей по берегам редкими вербами и раkitами.

Вместе с Зымкой, которая тотчас сообразила, в чем состоит наша задача, я пополз по берегу да так старался ничем себя не выдать, что мне могла бы позавидовать даже лисица. И я добился своего. Мы с Зымкой подобралась к цапле метров на десять.

Цапля, ступив своими длинными ногами в мелкую воду и задрал вверх змеиную головку с длинным острым клювом, замерла и не двигалась, словно была изваяна из серого мрамора. Казалось, ее ничто не интересовало и она ничего не видела. Но вдруг ее клюв молниеносно ушел в воду, в следующее мгновение снова взмыл вверх, и маленькая рыбка блеснула и исчезла в ее глотке. Это произошло так быстро, что мы с Зымкой едва уловили ее движения. И снова цапля застыла на месте, задрал голову.

Мы наблюдали за ней целый час. За это время она поймала не меньше десятка рыбешек. Зоб ее раздулся и обвис. Наконец цапля вышла на берег, подпрыгнула, взмахнула широкими крыльями и поднялась над запрудой, вытянув длинные ноги. Потом она села на сухой дуб и там затаилась.

— Было б у меня с собой ружье, я б ей показал, почем фунт лиха, — сказал дед Мирю, когда я с восторгом рассказывал ему, как цапля ловит рыбу. — Она вредная птица: много рыбы

истребляет. Особенно когда река мелеет. Тогда вся рыба собирается в омуты, ее там хоть руками бери. Цапля ее таскает, ровно уху ест...

Он посмотрел на дерево, на которое села цапля, и продолжал:

— Там она будет сидеть, пока не переварит всю рыбу. Взял бы ты свое ружьишко, мы б ее хоть попугали. А ты близко к ней подкрался, молодец!

Однако дедова похвала меня не слишком обрадовала. Позволил бы он мне взять с собой ружье, у меня на счету уже была бы убитая цапля!

— Следующий раз возьмешь. Я сам его понесу,— сказал старик, заметив, что я приуныл.

Дед Мирю рассказывал мне о жизни разных зверей и птиц, и я слушал его раскрыв рот. Я засыпал его вопросами, и воображение рисовало неведомые мне до тех пор картины.

— У каждой твари свой характер и свое место в природе. Если ты изучишь их привычки, тебе легко будет на них охотиться. Говорят, что заяц глуп, а лиса хитра. Не верь этим рассказам. Все животные и глупы и хитры. Природа отпустила им ума ровно столько, сколько им нужно...

Однажды, когда мы ловили рыбу над запрудой, дед Мирю вдруг стал внимательно всматриваться в песок. Отложив сеть, он присел на корточки и с интересом разглядывал чьи-то следы. Они походили на кошачьи, но были больше, шире и по краям отпечатались и когти животного, ходившего по песчаной полоске вдоль запруды.

— Вот так штука!— воскликнул старик и радостно потер подбородок.

— А что это?— спросил я.

— Выдра, дружок, выдра. И, как видно, не маленькая. Заработает дед Мирю не меньше двух воловьих языков.

Воловьими языками дед называл банкноты по тысяче левов.

Он велел мне сидеть у сети и не топтаться вокруг, покуда он обойдет песчаную косу.

— Сегодня вечером попробуем ее выследить. И луна сейчас полная. Спрячемся вон за теми вербами, на левом берегу, откуда тень не падает,— сказал он, вернувшись ко мне, заметно взволнованный.

Мы перестали удить и вернулись домой, чтобы подготовиться к ночной охоте. Выдры — вредные животные, и закон позволяет бить их в любое время года.

Вечером я выбрался из дому с большим ломтем хлеба и куском брынзы и, соврав нашим, будто я иду к деду Мирю есть уху, побежал к его калитке.

Старик вышел со двора осторожно, стараясь, чтоб его не заметили собаки, которые наверняка, заведя его с ружьем на плече, подняли бы страшный скулеж и лай. Он прихватил с собой мешок, патроны и специально для меня рваную поддевку, которая должна была защитить меня — оберегать от ночной сырости. Я попросил его дать мне понести ружье, но он не согласился.

— Мал ты еще для такого ружья. Упадешь и поцарапаешь его о камень, — сказал дед Мирю и повесил мне на плечо сумку с поддевкой.

Когда мы вышли за город, уже смеркалось. Кое-где сквозь пышные кроны фруктовых деревьев пробивался свет ламп. В поле темнела кукуруза, тускло желтела стерня. Пустое шоссе белело, теряясь за поворотом.

— Хорошенько запомни, что я тебе скажу, не то сорвешь мне охоту, — говорил старик, поторапливая меня и широко вышагивая своими длинными ногами, привыкшими ко всякой дороге. — Не разговаривай, молчи, как рыба. Даже если заметишь выдру, не кричи «вот она», а тихонько толкни меня. Чтоб я твоего голоса вообще не слышал, понял? А то не буду больше брать тебя, и дружба врозь.

— Я буду молчать, — покорно обещал я и почти бежал за ним по глинистой тропке, что вела к реке.

— У выдры слух острый, хоть ушки и маленькие. И видит она в темноте, как кошка. Если почует нас, нырнет обратно и больше на этом месте не вылезет.

И старик продолжал давать мне наставления, сводившиеся к одному — не шевелиться, не шмыгать носом, не разговаривать.

Мы перешли шоссе, спустились по узкой тропинке к запруде и через минуту очутились на том месте, которое старик выбрал для засады.

Я впервые присутствовал на настоящей, серьезной охоте, да еще на такой, которая требовала, по словам деда Мирю, особого внимания и осторожности. Сердце у меня забилося

вовсю, когда я сел на теплую землю рядом со стариком и прислонился спиной к стволу вербы.

Дед Мирю уселся по-турецки, положил ружье к себе на колени и, окинув взглядом блестящее зеркало запруды, на котором темнели неясные тени ракушек, тихонько шепнул мне:

— Надень поддевку сейчас, не то потом замёрзнешь, а шевелиться уж нельзя будет.

Я напялил на себя длинную и толстую поддевку. Она закрыла мне колени и сразу меня согрела.

В глубине запруды, над зеркалом воды, мрачно вырисовывался силуэт мельницы. Река шумела в прорванной плотине, а ниже запруды делала поворот. За поворотом темнели плетни деревенских огородов. По ту сторону реки, на дороге в деревню, нежно и мелодично звенела мандолина, высокий ясный голосок выпевал куплеты какой-то песни. лягушачий хор заглушал стрекотание цикад. Около верб мелькнула белым пятном собака и исчезла дальше на берегу. лягушки вдруг испуганно умолкли, а потом, словно вступая с кем-то в ожесточенный спор, заквакали еще громче.

Я всматривался в запруды и глядел до тех пор, пока воображение не начало подсказывать мне таинственные и странные видения. Я представлял себе, как выдра вылезет на песчаную косу, и старался угадать, откуда она появится. Ее нора была на противоположном берегу, глубоко под корнями верб. Вот она сидит сейчас в своем подземном жилище и слушает. Все звуки передаются по воде, а вода подступает к самому входу в ее жилище. Она ждет, когда наконец наступит тихая июльская ночь. Может быть, она слышит, как мандолина и песня уходят в сторону деревни. Это ее не удивляет. Сидя целыми днями в своей темной норе, она слышит немало таких звуков: слышит наши голоса, когда мы ловим рыбу, слышит плеск дождя, после которого уровень воды поднимается и ее жилище заливают грязная вода и тина. По этим звукам она безошибочно определяет смену дня и ночи... Сейчас она слушает — вот плеснул клень, вот проплыла лягушка — и ждет, когда наступит ее час...

Я видел выдру только на картинке, на большой зоологической таблице, висевшей в школьном коридоре, и стору от нетерпения увидеть ее живьем.

Начала всходить луна; восток загорелся зловещим пламенем, над горизонтом показался краешек большого красного



глаза, и вдруг все словно ожило. На заправду упал свет луны, и по воде побежали золотисто-красные блики. Лягушки, смущенные переменой, перестали сотрясать воздух своими криками. Луна поднялась чуть выше, словно потерлась о неровную линию горизонта, и, как запоздалый, но долгожданный гость, улыбнулась земле широкой глупой улыбкой. Через десять минут стало так светло, что я мог разглядеть ползущего по поддевке муравья.

По поверхности заправды двигались черные точки. Это были лягушки. Потом среди этих точек, за которыми я все время напряженно следил, появилось что-то более крупное. Оно плыло против течения и, рассекая воду, оставляло за собой на воде две складки. Двигалось оно к нам, но было еще слишком далеко, чтоб я мог понять, что это. Неожиданно оно повернуло к берегу и исчезло в тени ракушек. Выше, там, где шумела быстрина, послышался всплеск. Появились еще две тени и так же быстро исчезли. Прошло несколько минут, напряженных и долгих, словно часы. Где-то у деревни все чаще ухал филин,

вокруг делалось все тише, а в стрекотании цикад установился какой-то неправильный ритм.

Вдруг песчаную косу быстрыми кошачьими прыжками пересекло какое-то животное и поплыло к быстрине. Было хорошо видно, как его плоская голова рассекает гладкую поверхность запруды.

Я толкнул локтем деда Мирю. Он ответил мне тем же движением, что означало: «Сиди тихо, я все вижу».

Животное достигло быстрины. Теперь там происходило что-то совершенно непонятное. Слышались всплески, на камнях над водой показывались черные спины и тотчас исчезали, на отмели мелькали какие-то тени. Я ждал, что сейчас старик вскинет ружье и выстрелит; сердце у меня стучало, как молоток, дыхание перехватывало. Но дед сидел неподвижно, положив руки на ружье, которое он держал на коленях. Тень вербы, падавшая на его лицо, делала его незнакомым и загадочным.

Над быстриной скользнула большая птица. С бархатистой мягкостью она взмыла вверх, бесшумно и круто повернула и устремилась к нам. На фоне неба ясно были видны ее большие широкие крылья, короткое округлое тело. Загремел выстрел. Красное пороховое пламя взметнулось длинным языком, звучно простонал стальной ствол. Птица качнулась и упала в воду в нескольких шагах от нас...

— Вот так! — весело сказал дед Мирю, опуская дымящееся ружье и вынимая стреляную гильзу.

Я кинулся доставать птицу. Течение несло ее к середине запруды. Два огненных глаза заставили меня отдернуть руку. Птица была жива. Она смотрела на меня, и в ее мрачных глазах горело зловещее, пугающее душу пламя.

— Оставь. Все равно река ее унесет, — сказал дед Мирю.

— А кто это? — спросил я, чувствуя, как по телу проходит дрожь.

— Филин.

— А что он делал, почему он... он что, на нас хотел напасть? — расспрашивал я, еще не оправившись от смущения и пытаюсь понять, что за молчаливая драма разыгралась на наших глазах так неожиданно и быстро.

— Он нападал на выдр, разбойник. Самка учила своих малышей ловить рыбу, а он пытался утащить хотя бы одного.

Филина несло течением к противоположному берегу.

— Если он даже вылезет на берег, сороки его завтра прикончат, — сказал дед Мирю. — Скорей всего, и сам помрет, разве только я в крыло его ранил. Но сороки так или иначе с ним расправятся. Он охотится на них по ночам, и они его ненавидят. Его все птицы ненавидят. Ты поспи, успокойся, — закончил он, сворачивая сигарку и не отрывая взгляда от реки.

— А выдры? Почему ты их не убил?

— Они, наверное, больше не покажутся. Впрочем, кто их знает, может, и вылезут, но уж ко вторым, к третьим петухам, когда начнет светать, — сказал он и, сообразив, что так и не объяснил мне, почему он не стрелял, добавил: — Выдра от нас не уйдет. У нее трое маленьких. Пусть подрастут немного... Ты ложись, поспи. Скоро роса выпадет.

Я завернулся в поддевку, поджал под нее ноги и попытался заснуть, но сон не шел ко мне. Все хотелось посмотреть, что делается в запруде, не покажется ли там снова голова выдры, не мелькнет ли на камнях над быстринной чья-нибудь тень. Глаза филина продолжали смотреть на меня — кроваво-красные, горящие, как глаза безумца. Я вздрагивал, вспоминая о них, и, съевшись под толстой поддевкой, погружался в какую-то зыбкую дремоту.

Река плескалась ровно, успокаивающе. Стало прохладно. Выпала роса. Луна склонилась к западу, и лягушачье пение стало протяжным и грустным.

Прежде чем я совсем заснул, мне показалось, будто все вдруг стихло, притаилось и замерло в каком-то ожидании, точно земля именно в эту минуту прошла половину своего ночного пути.

НА ОХОТЕ

Весь июль мы по два раза в неделю ходили на реку. Я много узнал о рыбах и птицах, которые водятся у воды. Однажды я обнаружил в крутом глинистом берегу, усеянном глубокими отверстиями, целое поселение золотистой щурки. В отверстиях были гнезда щурки.

От обрыва шел неприятный запах, а вокруг летали маленькие, легкие, удивительной окраски птички. Они порхали искусно, как ласточки, кружили в воздухе, сверкая в солнечных лучах, а потом стрелой кидались к берегу и исчезали в

гнездах. Своими зеленовато-синими крыльями, голубыми подкрыльями и брюшками, желтыми, солнечными спинками и маленькими зоркими глазками, они напоминали мне каких-то тропических птиц. Летали щурки то низко, то вдруг взмывали вверх и быстро уносились в синее небо, так что глаз едва различал их в теплом, напоенном солнцем воздухе. Они парили, как ястребы, оглашая окрестность непрерывным: «Гуэп, гуэп! Вюрр, вюрр!»

Как я ни старался добраться до их гнезд, мне это не удалось. Берег был совершенно отвесный; я никак не мог удержаться на обрыве и чуть не упал в реку.

— Брось,— советовал мне дед.— У них гнезда глубоко в глине, все равно не доберешься. Да и на что тебе? Не видишь разве, какая от них вонь идет?

Как-то к нам подошел высокий тощий человек с ружьем за спиной.

— Всех пчел у меня пожрали,— пожаловался он.— Прямо не знаю, что с ними делать. Надумал вот подрывать берег, чтоб их изничтожить. Не то ни одна пчела не уцелеет.

Человек этот был пасечник. Пасека его стояла неподалеку, среди густых сливовых деревьев. Он рассказал нам, что щурки истребили у него множество пчел.

— Хватают их и когда пчелы летят за вятками, и когда возвращаются в ульи, и во всякое время. Как ласточки мух хватают. Разорили меня, проклятые птицы!

Он выстрелил в щурку, пролетавшую над его головой, но не попал и выругался.

— Ничем их не возьмешь,— заключил он с досадой.— Позавчера я убил с десяток, развесил их по сливовым деревьям — думал, напугаю остальных, и тоже не помогло. Ничего не помогает. У-у-у, гады чертовы! — и пасечник, обернувшись, махнул рукой жене, которая подходила к нам, вскинув на плечо мотыгу.

Пасечник наклонился и стал подворачивать брюки. Он собирался подрывать берег, обрушить его и уничтожить гнезда щурок. Пасечник надеялся, что таким образом он навсегда прогонит их из нашей местности.

Мы оставили его и пошли дальше вниз по реке, но еще долго до нас доносилось: «Гуэп, гуэп! Вюрр, вюрр!» Это щурки, обеспокоенные судьбой своих гнезд, тучами носились над головой пасечника.

В конце месяца дед Мирю убил старую выдру. Меня при этом не было, но он рассказал мне, что подстрелил ее на песчаной косе.

В город он принес ее в мешке, мертвой. Она была величиной с большую кошку, с густой светло-коричневой шерстью, длинным хвостом и длинными усами и почему-то напомнила мне нашего соседа Гуню Темнарского, который держал бакалейную лавочку, темную и длинную, точно нора. У него, как и у выдры, были кошачьи, немного навывкате глаза, маленькие уши и густые усы...

Месяц кончался. До открытия охотничьего сезона оставалось три дня. Мы бросили ужение и готовились к первой охоте.

Дед Мирю тщательно почистил свою двустволку: смазал изнутри все пружины, натер льняным маслом ложу и принялся снаряжать патроны. Это дело он делал с любовью, но медленно, старательно, словно хотел растянуть удовольствие. Я помогал ему, засыпая дробь. Он накладывал порох и специальной машинкой закручивал верх гильзы.

Погода стояла ясная, тихая, и мы занимались своим делом во дворе, куда дед Мирю вынес стол. Там мы приготовили около сотни патронов для перепелов.

Зымка как будто понимала, что значат эти приготовления. Она стала беспокойной, нервной. Ей не сиделось на месте. Она то подходила к нам и тыкалась мордой в колени старика, то бесцельно слонялась по двору и скулила.

Наконец наступил долгожданный день. Ночью я почти не спал, намереваясь выйти из дому еще до рассвета, и едва дождался утра. Когда я подошел к домику деда Мирю, его маленькое окошко светилось. Со двора доносился громкий лай. Лаяли все три собаки. Грохочущий бас Мурата звучал глубоко и нетерпеливо, при этом он жалобно подсвистывал носом, Волга прямо плакала, но с какими-то угрожающими нотками, а Зымка, которая пользовалась привилегией жить без привязи, бегала по двору, белея в полутьме, и то и дело опрокидывалась на спину и каталась по земле. Старик тоже был возбужден. Собаки распаляли его, настраивая на боевой лад, как труба настраивает полкового коня. Он суетился, укладывая сумку, вздорил из-за чего-то со своей доброй старухой, которая ходила за ним с лампой и светила ему, шикал на собак. Как только я вошел во двор, Зымка прыгнула мне на грудь, лиз-

нула в лицо, повалила на землю и принялась носиться вокруг меня.

— Возьми ружье и Зымку и иди, а я попробую утихомирить этих дьяволов,— сказал дед Мирю, надевая ремень ружья на мое плечо.

Он взял Зымку на поводок, дал мне его конец и велел ждать его чуть подалее, у конца улочки. Он думал таким образом успокоить собак, внушив им, будто это я, а не он идет на охоту. Но гончие не дали себя провести, и, когда он вышел со двора, вслед ему понесся еще более оглушительный лай и вой.

Я сжимал одной рукой тонкую шейку приклада, замирая от гордости и счастья — наконец-то у меня на плече была славная двустволка, а другой рукой держал поводок Зымки, которая тащила меня, хрипя и задыхаясь, стремясь как можно скорей выйти в поле. Но счастье мое было недолгим. Дед Мирю догнал меня, взял ружье и спустил Зымку.

Мы поднялись на холм и пошли жнивьем. Над землей стоял узенький серп месяца. Сквозь перистые облака на востоке медленно просачивалась заря. Небо краснело там тяжелым и мрачным багрянцем. Продолговатое облако было похоже на ятаган, склоненный над раскаленными угольями. Еще стрекотали цикады, но, как-то неуверенно, устало — точно просили ночь не уходить. Откуда-то дохнул ветер, зашелестел листьями кукурузы, прошел по нашим лицам густой теплой волной. Легкий белесый свет коснулся гребня гор, белым пятном проступила снежная вершина. Через несколько минут свет на востоке стал веселым и чистым, разлился розовыми потоками, и вот уже и горы засинели, выросли, прекрасные и недоступные, и словно вспыхнули светом, а перистые облачка стали похожи на разорванную золотую броню. Месяц все так же висел над нами — лучезарнее, чем прежде, но уже далекий и бессильный.

Мы дошли до плодового сада, возле которого росло несколько грецких орехов.

— Здесь посидим,— остановил меня дед Мирю.— Отсюда начнем охоту, когда совсем рассветет,— и он обвел рукой широкое плато, расстилавшееся перед нами. Плато было покрыто жнивьем, некошеными овсами и кукурузой.— Тут самые перепелиные места. Слышишь, как самцы мяукают? Они кричат по утрам и по вечерам,— добавил дед Мирю, сворачивая ци-



гарку. Как и большинство бедняков в то время, дед Мирю курил контрабандный табак, скручивая сигарки из тонкой бумаги или из газеты.

Действительно, кругом раздавались перепелиные голоса. Я давно уже знал их бой, но никогда до тех пор не слышал, как он начинается. Прежде чем начать собственно бой, перепел кричит что-то вроде «мармаро, мармаро», что в какой-то степени напоминает мяуканье. Сейчас это «мармаро» слышалось со всех сторон и так громко, как будто перепела были совсем близко. Посреди воркованья горлиц, свиста иволг и щебетанья уже проснувшихся мелких пичужек крик перепелов звучал резко и как-то странно. Зымка вслушивалась, наставив уши, и поглядывала на хозяина, словно спрашивая его: «Слышишь? Ну чего же ты ждешь?»

Вдруг в ореховой листве над нами послышался неприятный хохот. Кто-то бесстыдно рассмеялся. Зымка повернула голову и уставилась в ту сторону. Я тоже невольно вздрогнул. Только старик сидел спокойно, будто ничего не слышал. Снова раздал-

ся хохот, еще более продолжительный, словно кого-то щекотали.

— Дедушка Мирю, что это? Там что, люди? — спросил я.

Старик улыбнулся и послунял гитарку.

— Подожди, увидишь, — сказал он.

В листве ореха снова кто-то захохотал. Раз, другой, и вдруг хохот перешел в несколько быстрых: «Ку-ку! ку-ку! ку-ку! ку-ку!»

Это была кукушка. Она просыпалась. Наверное, она хорошо провела ночь в широколистных ветвях ореха и теперь смеялась, словно ведьма, которой приснился веселый сон.

— Нагадала себе что-нибудь хорошее, — сказал дед Мирю. — Не жизнь у нее, а малина. О птенцах заботиться не надо, их другие кормят. Снесет яйцо, возьмет его в клюв и положит в гнездо какой-нибудь пичуги. Если кукушку вывела, скажем, горихвостка, эта кукушка и сама будет нести такие же яйца, как у горихвостки, и подкладывать их горихвостке в гнездо. Если ее высидела мухоловка, она кладет яйца в гнездо мухоловки. У каждой кукушки свои, можно сказать, няньки, свои помощницы, — заключил старик.

Через минуту из ореховой листвы вылетела серая птица, похожая на небольшого ястреба, пронеслась над садом и скрылась среди яблонь и сливовых деревьев. Оттуда донесся испуганный писк.

— Синицы трещат, — сказал дед. — Они ее люто ненавидят за все ее пакости... Ну, пошли, уже совсем рассвело, — добавил он оживленно и зарядил ружье.

Мы пошли к овсам. Зымка радостно кинулась вперед; она носилась большими кругами, сторожко вытянув морду, словно боялась уколоться о высокую солому жнивья. Вид у нее был немного обалделый, и казалось, что все четыре ее лапы и все тело служат только для того, чтобы поддерживать в нужном положении тупую морду с большим красно-коричневым носом.

— Ты иди слева от меня и немного позади, — сказал дед Мирю. — Зымка, не спеши! — прикрикнул он на собаку.

Мы подходили к кукурузному полю. Блестящая острая солома жнивья слегка хрустела у нас под ногами. Освещенная первыми лучами солнца, мокрая от росы, равнина курилась кое-где утренними испарениями.

Старик обеими руками держал ружье с взведенными кур-

ками, на стволах играли отсветы зари. Зымка, пригнувшись, бежала впереди.

Вот она замедлила шаг, энергично замахала своим коротким хвостом, быстро завертелась на одном месте и вдруг замерла, точно окаменев. Тело ее вытянулось. Она словно не дышала. Голова составила одну линию с хребтом, а передняя лапа была поджата к животу. Она держала эту лапу так, будто боялась опустить ее на землю.

— Стойка,— сказал старик и зашагал к собаке, которая стояла, все так же оцепенев и уставившись куда-то прямо перед собой.

Старик приближался к ней угрожающе широкими, нетерпеливыми шагами. Мне стало страшно. Охваченный каким-то непонятным мне самому возбуждением, я не дыша смотрел то на собаку, то на старика. Вот он поравнялся с Зымкой — Зымка все так же, как заколдованная, всматривалась в стерню,— зашел вперед, сжимая в руках длинное блестящее ружье, и лицо его напряглось. Тогда собака стремительно метнулась в сторону, словно ее потянула туда неведомая сила, и из-под самой ее морды с легким звучным свистом взлетел крупный перепел. Он устремился к кукурузе и, быстро и часто взмахивая короткими крылышками, полетел над жнивьем. Неприятно и сухо щелкнул выстрел. Перепел перевернулся, повис головой вниз и, будто подхваченный вихрем, упал на желтое жнивье.

— Зымка, дай! — крикнул дед Мирю.

Собака кинулась, взяла в зубы перепела и, смеясь глазами и радостно виляя хвостом, поднесла его хозяину.

— Положи его в сетку,— сказал он мне.

Вне себя от волнения и восторга, я взял в руки теплую, мягкую, пушистую птичку. Она лежала на моей ладони, свесив маленькую, похожую на куриную, головку. Я дивился коричнево-серым перышкам на ее спинке, соломенным мазкам на перьях, неуловимым переливам тонов, в которых было и что-то земное, и что-то таинственно-манящее. Под конец я не вытерпел и тайком понюхал убитую перепелку, как это делала Зымка, знакомясь с каким-либо новым предметом...

Через полчаса убитые птицы уже здорово оттягивали мне пояс, а их лапки царапали мои голые коленки. Я не отрывал глаз от Зымки. Хотя я хорошо знал это плато, мне казалось, что я попал в какую-то неизвестную местность. Перепелок было много, особенно в овсах. Зымка находила их мастерски. Она

бежала по краю поля и, найдя какую-то невидимую воздушную струю, подставляла ей нос. Иногда она просовывала голову в гущу стеблей, старательно втягивала в себя все запахи поля и, если там пряталась перепелка, заходила вглубь. Нежные метелки овса, русые, как девичьи косы, покачивались и шелестели. Собака прокладывала среди них дорожку, и вдруг наступала тишина. Ни один колосок больше не шевелился.

— Гоп, Зымка! Дай! — кричал дед Мирю, прижимая приклад к плечу.

Чтобы не топтать овес, он заставлял собаку поднимать перепелок, хотя и полагал, что это может испортить ее выучку.

Я обливался потом, но не чувствовал ни жары, ни тяжелой сумки за спиной. Стерня колола мои босые ноги, ежевика расцарапала мне щиколотки, но все это меня ничуть не трогало. Мне ужасно хотелось увидеть, как перепелка лежит под самым носом у Зымки, и понять, почему она не улетает, если собака не двигается. Каждый раз, когда Зымка делала стойку, я порывался попросить старика позволить мне посмотреть на перепелку. Но, когда дело доходило до выстрела, я решал, что попрошу следующий раз.

Часам к десяти, когда высохла роса, обе сетки наполнились. Зымка устала, вывалила язык, дышала с хрипом. Становилось жарко. Дед Мирю решил свернуть к реке. Там собака могла бы поостыть, досыта напиться и отдохнуть. После этого можно было обшарить оставшуюся часть плато.

Мы зашагали напрямик через жнивье и картофельное поле. Вдруг Зымка сделала стойку чуть ли не на голом месте, недалеко от высоких бодяков. Учувя перепелку, она не успела даже спрятать язык и так и замерла, прихватив кончик языка зубами. Большая серая муха тотчас присосалась к нему, но Зымка ничего не замечала.

Я попросил деда разрешить мне взглянуть на перепелку.

— Раз уж тебе так хочется, иди вперед. Только осторожно, не подними ее. Смотри туда, куда смотрит собака, промеж соломинок...

Осторожно и робко я подошел поближе. Я окидывал лихорадочным взглядом каждый комок земли, потом снова смотрел на Зымку и пытался понять, куда уставилась она. Перед ней ничего не было. Я сделал еще шаг, снова всмотрелся и тут наконец заметил перепелку. Она лежала в полуметре от собачьей

морды, и соломинки сливались со светло-желтыми полосками на ее перьях, так что казалось, будто ничего, кроме земли, под соломинками и нет. И как она лежала! Вытянутое вперед, прижатое к земле тельце даже не вздрагивало, словно она была не живым существом, а чем-то бездушным, окаменелым и мертвым. Маленькая головка с черными, как бусинки, глазками, была опущена. Перепелка смотрела на нависшую над ней морду Зымки, а Зымка смотрела на нее. Так они и замерли в немом созерцании: Зымка — скованная нерешительностью, точно замороженная, а перепелка — парализованная ее присутствием, подстерегающая то мгновение, когда собака бросится на нее, чтобы самой тут же взлететь. Постепенно я начал различать отдельные краски на ее перьях, темно-серое, почти черное ожерелье у горла. Мне стало жалко эту притаившуюся, точно мышонок, птицу, но, с другой стороны, я испытывал страстное желание ее поймать.

— Видишь? — спросил дед Мирю.

— Да, да, — шептал я, потрясенный и все еще готовый усомниться в том, что передо мной живое существо.

— Теперь подайся в сторонку, — сказал старик.

Перепелка вспорхнула, полетела низко над землей и опустилась в нескольких метрах от нас. Зымка кинулась к ней. Перепелка, опередив ее, снова поднялась, пролетела с десятков метров и снова опустилась.

— Наседка, — сказал дед Мирю. — Зымка, назад!

В зарослях бодяка пряталось семь перепелят. Подойдя к ним поближе, Зымка тут же сделала стойку. Птенцы заматались с жалобным писком. Мы взяли Зымку на поводок и пошли дальше.

— Перепелка хотела обмануть собаку. Вот что значит мать — жертвовала собой, чтоб спасти птенцов, — сказал старик. — А куропатки притворяются, будто они раненные, хромые. Падают перед носом у собаки, ковыляют по земле, словно они подстрелены, и сбивают собаку с толку, отводят ее подальше от маленьких. А как отведут, взлетают, и глупая собака остается ни с чем...

Зымка вошла в реку и улеглась, посматривая на нас с веселым и довольным видом. В воде она скоро задышала легче, несколько раз принималась лакать воду, а потом, мокрая и безобразная, выбралась на берег и, отряхиваясь, обдала нас дождем мельчайших брызг...

ХИТРЕЦ

Дед Мирю продавал перепелок в ресторан городского казино или богатому зубному врачу. Это были его единственные покупатели. Однако часто случалось, что ни высокий и худой, как журавль, доктор, ни толстый управляющий казино не хотели купить дичь — то ли оттого, что старик стоял на своей цене, то ли еще почему. Тогда дед Мирю звал к себе своего соседа Йонко, такого же бедняка, как он сам, разводил во дворе огонь и жарил птиц на вертеле.

Во время этих угощений он становился особенно словоохотлив. Живо и увлекательно он рассказывал, например, как перепелки улетают на юг. В молодости он ходил на каком-то суденышке вдоль нашего побережья, добирался и до Сирии и много чего повидал. Слушая его рассказы, я переносился на берег моря, в темные октябрьские ночи, видел холодные чернильные волны с белыми гривами пены, необозримую бушующую стихию и поблескивающий во тьме маяк. Над самыми волнами, словно туча длиной в целый километр, со свистом несется плотно сбитая стая перепелок. Она кажется тенью над слегка освещенной водой. Ухо улавливает мягкое, хрипловатое жужжание множества крыл. Густыми рядами летят сквозь ветреную, бурную ночь тысячи птичек — таких беспомощных в отдельности и таких могучих вместе, когда они охвачены единым порывом. Они летят откуда-то из Крыма, от берегов Советского Союза, из Бессарабии, с хлебных просторов Украины. Там они сбивались постепенно в маленькие стаи, перекикались, сбегаясь одна к другой по убранным полям, по траве, по кукурузе и огородам, ведя за собой подросток потомство. Стаи передвигались то по воздуху, то по земле, преодолевая немалые расстояния, наконец где-то в Крыму или в другом месте складывалась эта огромная туча. И вот сейчас они летят на юг, гонимые наступающими холодами и голодом. Никакая стихия, никакая сила не может их удержать. Они видят желтый глаз маяка, потоки света, падающего в море, и устремляются к нему. Они надеются найти там тепло, убежище и покой. Точно выпущенное из пушки ядро, они ударяются в толстые стекла маяка, в натянутые вокруг провода, в стены и в крышу и падают мертвые, устилая землю вокруг маяка своими телами. Остальные летят дальше, оказываются над городом и опускаются на его окраинах. Там они разбегаются в разные стороны, по садам и огородам, спеша

утолить голод и отдохнуть. Наступает утро, море успокаивается и блестит на утреннем солнце, как громадный щит. Ласково греет октябрьское солнце. Тогда из города выходят охотники, и повсюду начинают трещать выстрелы. Целый день продолжается эта пальба, а к вечеру охотники торжественно проходят по городским улицам с тяжелыми связками перепелок. Из неисчислимой стаи остается несколько сотен птиц, разбежавшихся по окрестным полям. Ночью они собираются вместе, поднимаются в воздух и продолжают свой опасный путь. У теплых морских берегов юга их ждут раскинутые сети, новые охотники и новая смерть. И там люди рады полакомиться их нежным мясом.

— Больше всего их ловят сетями,— рассказывал дед Мирю.— В городе Яффа в ресторанах и даже в харчевнях висят клетки с живыми перепелками. Зайдешь туда, тебе достают перепелку, отрезают ей голову и у тебя на глазах опципывают и жарят. Там я видел, как их ловят тысячами...

После таких рассказов мне уже меньше хотелось охотиться на перепелок. Маленькая птичка начинала казаться мне настоящим трагическим героем. А дед часто ходил на охоту, стараясь хоть немножко подработать, так как в те времена была сильная безработица.

— Ну что, не пора домой?— спрашивал дед Мирю, когда сетки наполнялись.— Штук двадцать уже есть, хватит. Смысл охоты не в том, чтобы ею кормиться, да что поделаешь... А ты изучай природу, учись стрелять, побольше двигайся, и будешь здоровым и крепким,— советовал мне он.

И действительно, наши походы сделали меня сильным, ловким и выносливым. Я быстро окреп, научился стрелять из своего дробовика. Не щурился и не моргал, когда нажимал спуск, хладнокровно и быстро прицеливался, а мой правый глаз стал «командующим глазом», то есть после долгих упражнений я научился фиксировать им предметы. За это лето я многое узнал и о животных и о людях. Случалось, Зымка поднимала стаю куропаток или останавливалась перед ежом, лаяла на него, досадуя, что не может до него дотронуться, и, наконец, исколов морду о его иголки, оставляла в покое. Иногда чуть ли не у нее из-под носа выскакивал заяц, стрелой кидался в кукурузу, а она бежала за ним и удивлялась, что хозяин не проявляет к нему никакого интереса.

Однажды она сделала стойку на меже. Когда мы заглянули

туда, то увидели, что в траве прячется зайчонок, совсем маленький, величиной с рукавичку. Мы взяли собаку на поводок и с большим трудом поймали длинноухого мальчика. Дед Мирю велел мне прикрепить к заячьему уху кнопку и отпустить пленника.

— Посмотрим, кто из охотников его убьет, — сказал старик.

Я отнес зайчонка домой и прикрепил к его уху кнопку. После этого я вынес его за город и отпустил.

Пришла осень. Мы стали ходить на охоту на зайцев и лис с Волгой и Муратом. Каждый раз, когда я бывал свободен, выучив уроки, я бежал к деду Мирю в надежде на то, что он собирается на охоту. Я вел на поводке обеих собак; они тащили меня за собой и пытели от нетерпения, стремясь как можно скорее оказаться в лесу. Там они беспокойно обнюхивали тропинки или забивались в чащобу. Славные дни наступили для охоты. Небо — ласковое и голубое, как детские глаза, — словно созерцало усталую землю. Леса желтели, тронутые первыми ночными заморозками; сквозь прозрачную воду реки и ручьев, давно вернувшихся в свои русла, видно было, как бьют зеленоватые холодные ключи. Созревал боярышник, и к нему слеталось множество птиц. По утрам выпадала жемчужно-холодная роса, а к полудню октябрьское солнце начинало припекать, и в воздухе стоял запах палой листвы. В буковых лесах этот запах был таким упоительным, что невозможно было надышаться.

Мы пускали собак на какую-нибудь полыхающую осенними красками вырубку, а сами сторожили на тропинках, наслаждаясь тишиной и покоем леса. Глядишь — то там, то здесь оторвется лист, лимонно-желтый, точно солнечный блик, закружится и с тихим шорохом медленно ляжет на землю. Сойка крикнет, дрозд просвистит испуганно, и снова стеклянная, зачарованная тишина. Только задумаешься о чем-нибудь или засмотришься на бабочку, которая порхает тут поблизости и знать не знает, что это последние ее дни, как вдруг Волга взвизгнет, словно ее ударили, глухо тявкнет Мурат, и два собачьих голоса понесутся наперегонки, перебивая друг друга. Тоненький, плачущий алыт суки одолевает бас Мурата. Весело и волнующе звучит эта дикая и страстная песнь, полнит эхом овраги, то затихает, то снова несется по лесу. По низкому густому подлеску, где палая листва выдает каждый шаг, бежит

рыжая лиса, обманывает собак, старается скрыть запах своих маленьких черных лап. Она крадется, как змея, вдоль какой-нибудь незаметной сырой тропки, прыгает с камня на камень по синеватым обрывам...

Притаившись за спиной старика, который, держа ружье наготове, обшаривает глазами все вокруг, я с остановившимся сердцем слушаю гон. Лай приближается, подходит к нам, становится все сильнее, все яснее. Слышно, как свистит носом Волга, как сварливо и злобно она лает. Под нами раздается шорох, из густых зарослей горной сосны, усеянных камнями, доносятся чьи-то быстрые мелкие шажки, и старик вскидывает ружье. Гремит выстрел, эхо подхватывает его, — словно в лесу что-то рушится, — и несет все дальше и дальше, спугивая тишину и безветренный покой осеннего дня...

По камням катится, свернувшись в клубок, смертельно раненная лисица и из последних сил пытается подняться на ноги. Грохочет второй выстрел, словно торопясь, пока не заглохло эхо, догнать первый, всплескивают крыльями два вяхиря, напуганных грохотом, а Волга, увидев между кустов умирающую лисицу, визжит торжествуя и страстно...

— Бери, бери ее скорей, а то как бы собаки не испортили! — нетерпеливо кричит дед Мирю.

И я бегу, не обращая внимания на кривые, цепкие ветки сосны, которые хватают меня со всех сторон и лезут в глаза.

На миг я останавливаюсь, пораженный, и боюсь дотронуться до мертвого зверька. Вытянувшись во весь свой рост, он лежит вниз головой на крутом склоне. А вдруг лиса только притворяется мертвой, как рассказывают сказки? Вдруг она укусит меня, когда я возьму ее в руки? На великолепной ее шкуре, отсвечивающей медным блеском, видна кровь. Язык закушен, словно для того, чтобы не издать ни мольбы, ни стога. Но глаза еще живы — янтарно-желтые, светлые и лукавые. Они будут жить еще несколько часов, пока зрачки не сморщатся, не станут, как желатиновая пленка, — тусклыми и безразличными... С какой ненавистью набрасывается на зверя Волга, как будто лиса — ее давний смертельный враг! Она душит и треплет ее. Тут я убеждаюсь, что она мертва, и поднимаю ее за ноги. Ее толстый, пушистый, как кудель, хвост падает ей на спину. Лисица немало весит, и я с трудом выволакиваю ее наверх на тропинку, где дед Мирю сдерет с нее ее красивую шкуру...

Иногда под выстрел попадал кудрявый, иссиня-серый лесной заяц с мягкой и гладкой шерсткой, длинные блестящие волоски которой поражают чистотой. Живот у него белый, пушистый. На усы набегает рубиновая капелька крови. Глаза большие, желтые, неприятно вытаращенные и мрачные...

Когда под вечер мы возвращались в город, собаки почти каждый раз подымали в неказистой пригородной рощице, все кусты которой были обглоданы козами, какое-то животное. Пониже рощицы шел овраг. Зверь убежал в ту сторону, и собаки теряли его след. Они рыскали взад-вперед, искали след и от досады принимались лаять понапрасну.

— Наверное, это какая-нибудь хитрая лисица, — говорил дед Мирю.

Мы звали собак и уходили, отложив преследование неизвестного зверя до другого раза. Но вот однажды старик решил, что настало время раскрыть тайну.

— Иди в овраг и там спусти собак, — сказал он мне, когда мы подошли к рощице. — Если это лиса, она, почуяв, что ты внизу, побежит наверх. — И он пошел на невысокий холм, по которому проходила лесная дорожка.

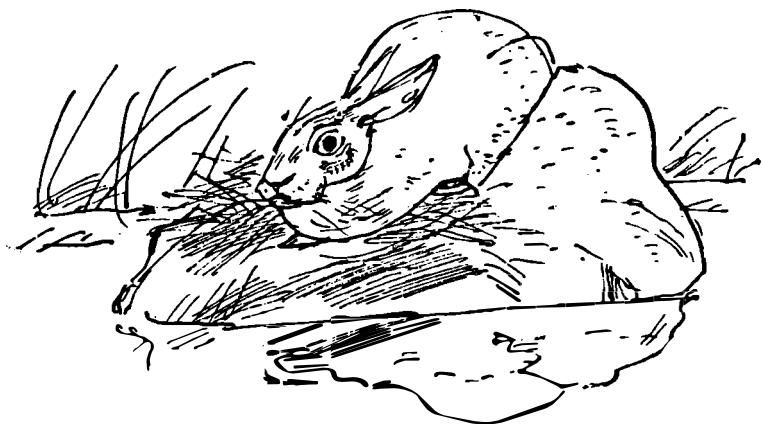
В овраге я спустил Волгу и Мурата и обмотал поводки себе вокруг пояса. Собаки поняли, что от них требуется, и шмыгнули в кусты.

Мне пришлось в голову спрятаться. Я перескочил ручей, бежавший по дну оврага, и уселся за куст боярышника по другую сторону небольшой заводи, посреди которой торчал здоровенный камень. На этот камень в дождливые дни вода нанесла тину и всякую труху. Он поднимался над водой наполовину, со всех сторон окруженный водой, как маленький остров. Труха и тина успели высохнуть.

Собаки побежали лесом вверх. Старик, успевший дойти до вершины холма, тихонько свистнул им. Прошло несколько минут. Волга и Мурат усиленно искали. Вдруг Волга неуверенно тявкнула. В наступившей тишине было слышно, как плещется вода в ручье и как собаки шарят по редким кустам.

Что-то прошумело глухо и мягко. Я приподнялся и посмотрел сквозь колючие ветки боярышника.

По склону скатывался заяц. Он несся прямо на меня, точно желтоватый шар, пущенный по крутому скату холма. Добежав до края оврага, он остановился. Его длинные уши шевельнулись, как ножницы. Заяц привстал — гибкий и нежный — и



посмотрел на вершину холма, где шуршали листвою собаки. Снова залаяла Волга. Заяц припал к земле, потом выгнул спину и, сделав два больших прыжка, снова застыл... Он был теперь от меня не дальше чем в десяти шагах. Я видел каждый его волосок и неотрывно следил за его движениями. Заяц был некрупный, молодой. Шерсть на груди его была кирпично-красной, на спинке — желтоватой. Секунду он простоял, выгнув спину, точно размышляя, бежать ли ему дальше по оврагу или оставаться здесь. Вдруг он вскинулся, прыгнул как-то смешно в ту сторону, откуда только что прибежал, и, разогнавшись, молниеносно перелетел на камень, торчавший посреди заводи. Там он плотно вжался в маленькое углубление, слился с тинной и трухой, облепившей камень, и стал похож на выпуклость камня. Я наблюдал, как он постепенно исчезал у меня на глазах. Кто научил его так прятаться? Видел ли он цвета, различал ли их неуловимые оттенки? Или его шерсть и форма тела, когда он лежал, и были специально устроены так, чтобы обманывать глаз? Я был поражен тем, как ловко он пристроился на камне; его зад, где шерсть была сероватая, лежал на голом камне, а не на тине, где он больше бы выделялся. Значит, заяц умел с толком выбрать себе место. Только глаз выдавал, где его голова, но если бы он не устраивался на камне у меня на виду, я никогда бы не поверил, что эта желтая точка может быть глазом животного,

Собаки взяли след и с лаем приближались к заводу. Заяц лежал, прижавшись к камню, и словно не дышал. От неуловимой игры серо-коричневых тонов его шкурки, в которые я вглядывался, у меня начинала кружиться голова, очертания зайца расплывались. Но стоило мне посмотреть в сторону и потом снова на камень, я видел его ясно. Я внимательнее посмотрел на его уши. Он прижал их к спине, так что они едва выделялись на ней двумя более темными полосками. На одной из этих полосок посередине виднелось светлое пятнышко. Это была алюминиевая кнопка, которую я прикрепил летом к уху маленького, с рукавичку величиной, зайчонка...

Это открытие взволновало меня. Значит, этот заяц — тот самый малыш, которого я гладил по дороге домой и которого я пустил на следующий день в кукурузное поле. Видно, он так и жил там, пока не убрали кукурузу. А тогда уже переселился в рощицу.

Собаки выбежали на край оврага. Идя по следу, они оказались в двух шагах от камня и с ожесточенным лаем искали потерянный след. Они бегали по оврагу то вверх, то вниз, Волга перескочила через ручей, нашла меня за кустом боярышника и удивленно посмотрела на меня, словно спрашивая, не видел ли я, куда делся заяц. Потом она побежала дальше, нюхая землю.

Заяц весь напрягся. Мне казалось, что он едва удерживается, чтобы не прыгнуть с камня. Когда собаки повернули обратно, он успокоился.

Дед Мирю ругался наверху на дороге. Потом он окликнул меня:

— Ну что, видел кого-нибудь?

Я вышел из-за боярышника и пошел вниз по оврагу.

— Эй! — снова окликнул меня старик.

— Ничего не видел, — сказал я.

— Гм, странно. Может, это кошка? Посмотри, не забралась ли она где на дерево, — сказал он.

Мы прошли всю рощицу насквозь и продолжали охоту в другом месте.

Вечером, когда мы возвращались в город, меня начала грызть совесть, и я рассказал все старику, попросив его не сердиться.

Он терпеливо выслушал меня, весело рассмеялся и сказал:

— Как ты мог подумать, что у меня поднимется рука на этого зайчонка? Зайчонок ведь наш, через наши руки, можно сказать, прошел. Разве мы стали бы его трогать? Человек не только бьет дичь, но и защищает ее. Если уж раз позаботишься о каком зверьке, потом сердце не позволяет причинить ему зло... Пусть себе живет, пусть прыгает. Но до чего ж хитер! — воскликнул он и по дороге рассказал мне, что однажды видел, как заяц, спасаясь от собак, прыгнул на изъеденный козами ствол боярышника и сидел на боярышнике, пока собаки не пробежали мимо.

— Значит, заяц понимает, что следы выдают его, и старается их замести? — спросил я.

— А как же иначе? Когда выпадет снег, я тебе покажу, на какие хитрости он пускается и как мастерски запутывает следы.

ГОСТЬ

Вниз по реке, довольно далеко от города, там, где начинались большие леса, стояла старая мельница. Мельник, дядюшка Петко, по прозвищу Черепаха, до недавнего времени брался за любую работу. В городе он то плотничал — чинил заборы, двери, сарай, то выполнял всякую черную работу, зимой пилил дрова и чистил снег. Сейчас он нанялся мельником на эту мельницу, принадлежавшую владельцу одного постоянного двора, толстяку и скупердяю.

Когда нам случалось проходить мимо его мельницы, Черепаха каждый раз просил деда Мирю, убить одну лисицу. Лиса эта, по его словам, что ни ночь, уносила у него по курице.

— Как же я ее убью? Откуда мне знать, которую? Лис много, и по ночам из леса выходит не одна и не две, — отвечал старик.

— Ты останься на вечер посторожить и убьешь ее, — уговаривал его мельник.

— Сделай себе лучше курятник покрепче. Это-то ты умеешь, — советовал ему дед Мيريا.

— Курятник у меня хороший, да эта гадина все равно хитрее меня. Всех кур у меня передошлет, — жаловался мельник.

Но старик не хотел браться за это дело, и Черепаха на него обиделся.

Мы продолжали ходить на охоту в те края то с гончими, то с одной Зымкой — за каменными куропатками и вальдшнепами. Каменные куропатки попадались недалеко от реки, в голой, каменистой местности. По утрам, до рассвета, они подавали голос с высоких известняковых скал: «Ки-ки-кик! Ки-ки-кик!», и их металлический щебет заставлял Зымку настораживать уши. А вальдшнепов мы искали на дубовых вырубках, где были старые, гнилые пни.

Однажды во время охоты пошел дождь, и мы завернули на мельницу обсушиться и переждать непогоду. Мельник встретил нас холодно.

— Ну, как лисица? Приходит? — спросил дед Мирю.

— И не говори... Две недели назад унес всех кур домой, да старуха моя не соглашается. Двор, говорит, мал, цветы ее клюют. Позавчера принес их обратно, и за ночь петуха не стало. А ведь они под крышей были, в сукновальне, — рассказывал нам дядя Петко, раздосадованный и огорченный.

— Как же лиса туда залезла? — удивился старик.

Мельник пожал плечами:

— То-то меня и убивает, что я понять не могу. Хоть бы узнать, что это!

— Может, хорек?

— Нет, не хорек. Хорек унесет голову, а остальное зарывает. Нет, не хорек.

— А перья оставляет? — спросил дед Мирю.

— Оставляет, но мало. И не поймешь, когда она тащит куру. Только услышишь — закудахтали, выйдешь — одной уже нет. И куда она ее уносит, черт ее знает!

Дед Мирю задумался.

— А собака? Не лает? — спросил он.

— Лает иногда, да что она сделает? А может, она и не на зверя лает. Вроде редко голос подает, — объяснил Черепах.

Дождь упорно не переставал. С широкой стрехи бежали струйки, срывались крупные капли. Сквозь шум дождя слышался грохот двух жерновов, от которых старое здание ходило ходуном. Пахло нагретым зерном и дымом от очага — в жилой комнатке горел огонь. Над лесом пополз туман.

— Из сукновальни унесла, говоришь? Ну-ка, покажи мне, где спят куры, — сказал дед Мирю.

Дядя Петко повел нас на сукновальню. Вход в нее был прямо из мельницы, которую отделяла от сукновальни только

одна стена. Мастерская сейчас не работала, и крестообразный молот, сделанный из двух толстых балок, был угрожающе приподнят, словно только того и ждал, чтоб вода привела его в движение и он тяжело бухнул бы в канаву. Сырые стены казались страшными, словно стены какого-нибудь средневекового застенка. Несколько толстых балок, покрытых мучной пылью и паутиной, поддерживали сложенную из заплесневелой черепицы крышу.

Мельник показал, где спят куры. Серые глаза старика обожали стены и остановились на балках. Он попросил лесенку, прислонил ее к одной поперечине и долго что-то рассматривал.

— А кошка у тебя есть?— неожиданно спросил он.

Дядя Петко почесал затылок.

— Была, да что-то не прижилась. Убежала в город. Думаю на днях взять котенка. А почему ты спрашиваешь?— ответил он.

Дед Мирю продолжал всматриваться в балки. Взгляд его скользил по толстому пласту мучной пыли, которым они были покрыты, и вдруг он, заметив что-то в глубине помещения, присвистнул от удивления. Торопливо переступив своими длинными ногами на две ступеньки ниже, старый охотник подался назад, словно хотел от кого-то спрятаться, и тихонько шепнул мне:

— Ружье... принеси ружье!

Я помчался в комнату и дрожащими руками схватил прислоненную к стене двустволку.

— Иди сюда, посмотри, кто жрал кур дядюшки Петко,— сказал он и подал мне руку, помогая взобраться на лесенку.

На балках было видно множество круглых следов. Они вели к задней части крыши, под которой находилась жилая комната. В обмазанной глиной чердачной клетке спиной к нам лежало какое-то животное, выглядевшее издали серым клубком. Оно лежало у самой трубы и, очевидно, не подозревало, что за ним наблюдают.

Дед Мирю вскинул ружье и прицелился. Треск выстрела заглушил на миг грохот жерновов. На чердаке что-то зашипело, завозилось, и перед самой дверью комнатки на пол тяжело плюхнулся большой дикий кот с пышным полосатым хвостом... Быть может, он пришел сюда из окрестных лесов, где дикие кошки попадались, хотя и редко. Склонность к комфорту и лени,

заставившая его предков тысячелетия назад прийти в человеческое жилье, привела его на старую мельницу. Он привык к людям. На чердаке мы нашли настоящую перинку из куриных перьев, в которой незванный гость устроил себе чудесное ложе...

— Видишь, от кого сбежала твоя кошка?— сказал дед Мирю, приподымая кота за задние лапы и ища глазами какой-нибудь гвоздь, на который он мог бы его подвесить, чтобы снять шкуру.

Черепаша не переставал охать и ахать.

— Вот ведь что спало над моей головой, ты подумай!— приговаривал он.— Как он меня не сожрал, как не придумил ночью? Ну, Мирю, ну, старина, ты меня от смерти спас! Чем мне тебя угостить, как отблагодарить тебя?

— Ладно, ладно,— смеялся старик.— Или мало ты его кормил да привечал? Смотри, какую шкуру он наел на твоих курах. Она мне и будет наградой...

ЛИСА С БУБЕНЧИКОМ

Дед Мирю ставил в лесу капканы. У него их было несколько — и побольше и поменьше. Большие он ставил на лисиц, а малые — на куниц, белодушек и хорьков.

Осенью, когда шкура у зверя особенно хороша, мы каждый раз, отправляясь на охоту с гончими, прихватывали с собой и капкан. Старик ставил капканы в заранее намеченных местах — или на маленькой, едва заметной тропке, набитой зверем, по которой не проходили ни люди, ни скот, или у какой-нибудь межи, неподалеку от лесной опушки. Он вырывал ножом гнездо для капкана, заставлял меня тщательно собирать выкопанную землю и относить ее подальше. Потом он пристраивал капкан, разводил дуги, настораживал их и засыпал капкан сухими листьями и мелким хворостом, так что и самый опытный глаз ничего не мог бы заметить. В качестве привады он клалдохлую курицу или какую-нибудь маленькую птичку. Когда все бывало готово, дед Мирю доставал из мешка пузырек с пахучей жидкостью и брызгал ею вокруг, чтобы забить запах наших следов и привлечь зверька к тому месту, где поставлен капкан. В пузырьке старик держал рыбы головы или отвар каких-то трав.

— Лисица очень любит рыбу,— учил меня дед.— Однако

она не может ловить ее, как выдра, и ей удастся побаловаться рыбкой только во время паводка. Тогда вода тащит большие камни, которые глушат рыбу, и она жмется к берегам. Когда же река возвращается в свое русло, побитая или оглушенная рыба остается в траве и тине, и вот тогда кумушка Лиса может оскормиться. А для куницы и ее сестрички белодушки нет ничего лучше птицы или птичьего яйца...

Прежде чем приступить к охоте, старик проверял капканы. Я стоял неподалеку и держал собак, которых мы не спускали, чтобы они случайно не попали в капкан.

Однажды ноябрьским утром дед Мирю вынул из капкана маленькую черную лисичку. Она была жива. Дуги капкана защемили ей шею, но не придушили ее. Старик вложил ей в пасть здоровую щепку и связал ее длинную мордочку веревкой, так что лисичка не могла кусаться. В это время года молодые лисы уже вырастают, становятся почти как взрослые, но эта была маленькая, приятная и какая-то смешная. Она жалобно смотрела на нас янтарными глазами и, хоть и закладывала назад свои черные бархатные ушки, не шипела на нас и не пыталась сопротивляться. Капкан отнял у нее силы.

Мне стало ее жалко. Дед Мирю держал ее за ноги, как держат ягнят.

— Гляди, какая маленькая попалась, — сказал он. — И шкурка у нее еще жидкая, пятидесяти левов за нее не дадут.

— Что мы с ней будем делать? — спросил я.

— Отнесем домой, посадим на цепь и подержим до зимы, пока она не подрастет и не выкунеет. Да только кормить ее надо...

— Давай отпустим ее, дед Мирю. Смотри, какая она маленькая, и глаза у нее такие...

— Кто же это отпускает лисицу, сынок? Она ведь вредная тварь. И людям пакости устраивает, и дичь уничтожает.

— Да эта ведь маленькая, что она может? Разве что лягушку поймает или мышонка. Давай отпустим ее, как мы тогда зайчонка отпустили, — настаивал я, с состраданием глядя на зверька, из пасти которого торчала щепка, придававшая ему мученический вид.

— Ну что ж, давай отпустим, — согласился старик. — Только хоть метину какую придумаем.

Я уже несколько дней таскал в кармане маленький латунный бубенчик, из тех, что привязывают к лошадиным дугам.

Я нашел его на шоссе. Этот бубенчик позвякивал у меня в кармане, и во время охоты я зажимал его в кулак, чтоб его не было слышно. Вспомнив о нем сейчас, я предложил повесить его на лисенка.

Дед Мирю, засмеявшись, тут же согласился, достал проволочку (он всегда держал в карманах разные веревки и проволочки, которые могли ему понадобиться для капканов), сделал из нее ошейник, прицепил к нему бубенчик и надел на лисичку. После этого мы развязали ей пасть и отпустили ее.

Мне казалось, что, пощадив зверька, мы сделали веселое и доброе дело, но вскоре я понял, какой жестокой была наша шутка.

— Эта лисичка теперь будет все равно что монах среди лисьего племени,— сказал мне дед Мирю, не переставая улыбаться.

— Почему?

— Да потому что с этим бубенчиком на шее она никого не сможет поймать. Ни мышь, ни зайца, ни птицу. Придется ей поститься до конца жизни.

Тут я понял, что мы наделали, и долго еще думал о судьбе лисички. Я представлял себе, как она пытается выследить какую-нибудь мышь. Вот она крадется, как кошка, ждет, пока мышь покажется в траве. Вот она готовится прыгнуть, бубенчик звенит — дзинь-дзинь! — и мышонок мгновенно прячется. Потом лисичка подстерегает птицу или зайчонка, но ей никогда не удастся их поймать. Коварный бубенчик издали предупреждает жертву, и все разбегаются от этого звона, потому что это звук из мира людей. Лисичка становится вегетарьянкой: питается ягодами боярышника, дичками, насекомыми, и единственная мясная пища, которую она может раздобыть, — это лягушки. Она ловит их по ночам у реки, когда они вылезают на берег. Но все это еще не так страшно. Страшнее другое: лисичка никогда не сможет встретиться с другими лисами, и у нее никогда не будет ни подруги, ни друга! Все бегут от нее, как от чумной, и прежде всего — ее сородичи. Только волки ее не боятся, наоборот — принимают за отбившегося от стада козленка. И сколько засад они будут ей устраивать, как будут охотиться за ее бубенчиком! Лисичка должна будет спасаться от их лап, потому что они не откажутся при случае и от ее тощего мяса. А что будет с бедным зверьком зимой, когда не

останется ни плодов, ни насекомых, а лягушки, зарывшись в тину, заснут летаргическим сном? Тогда единственной ее пищей будет гнилая древесина какого-нибудь пня или какая-нибудь погибшая от мороза синичка. Наступят студёные январские ночи. Над белыми лесами будет светить маленькая холодная луна. Скованная льдом река перестанет шуметь — ни звука вокруг, только снег блестит и ветер гуляет по заснеженной земле. И вот среди этого белого молчания звенит неумолимый язычок бубенчика: дзень-дзень, дзень-дзень! Он словно смеется над голодной лисичкой, словно издевается над ее бедой, нахально, глупо позвякивает у нее на шее, и ничто на свете не в состоянии его умиловить...

Вечерами, прежде чем заснуть, я представлял себе множество таких картин из жизни бедного зверька. Иногда я надеялся, что проволока может порваться, ее проест ржавчина и бубенчик слетит с лисей шеи. Еще я надеялся встретить ее, рассчитывал, что наши собаки нападут на ее след в том самом лесу, в котором мы ее поймали. Но никаких следов лисички не обнаруживалось.

Дед Мирю тоже ничего не мог о ней узнать — ни у охотников, ни у пастухов. Никто из них не слышал бубенчика. Может быть, лисичка уже покинула эти места или ее разорвали волки?

Осень кончалась, наступили последние ее дни. Палая листва, смоченная дождями, прибитая частыми заморозками, осела, слежалась. Кое-где в лесу еще видны были целые букеты неопавшей листвы — лилово-красные, словно вобравшие в себя холодные осенние зори, или желтые, даже нежно-зеленые, упорно сопротивляющиеся ветрам. Листья дубов напоминали пыльное золото. Стало сыро, исчезла паутина, которая раньше щекотала лицо. Под деревьями тихо и глухо. По холмам лениво ползет туман, скрывая их верхушки. Земля притаилась и с кроткой радостью ждет зимнего сна. Изредка подаст голос сойка, но так уныло, так неохотно, будто сама понимает, как не ко времени ее крик...

В один такой день мы отправились на охоту. Мурат и Волга долго рыскали по напоенным влагой вырубкам, долго шуршали своими хвостами, шарили по кустам, но ни одного зайца поднять не смогли. Потом они совсем исчезли. Мы свистели, кричали, я трубил два раза в охотничий рог, но собак и след простыл. Только эхо отзывалось на наши крики.



Время шло к полудню. Под нами что-то прошелестело, послышалось жалобное поскуливание, и показался Мурат — пыльный, грязный, с разорванными ушами. Увидев нас, он стал жаловаться еще громче, точно укорял за что-то. Потом повел нас за собой.

Пониже вырубки оказалась красноватая осыпь, а в ней — старая, заброшенная барсучья нора. Голос Волги доносился из-под земли. Там она боролась с каким-то зверем. Мурат поджал хвост и тоже исчез в норе. Вскоре у нас под ногами глухо зазвучал его басовитый лай.

Дед Мирю оставил меня у норы и пошел в ближайшую сторожку за лопатой. Но копать нам не пришлось. Не успел дед Мирю уйти, как собаки замолчали. Мурат вылез из норы, отряхнулся и сел у отверстия, не спуская с него глаз. Он чего-то ждал. Потом из норы показался собачий зад. Волга выползала из нее, с шумом волоча за собой какого-то зверя. Посреди ее пыхтенья я услышал... вы догадываетесь что... Ах, какая же она была тощая и страшная, бедняга! Даже шерсть у нее была редкая, свалившаяся и на спине какая-то зеленоватая, а не желтая, как это бывает обычно у лис. Видимо, бубенчик прогнал из норы ее законного хозяина. Испугавшись, он отправился на поиски другого жилья. Один-единственный раз бубенчик помог лисичке, которая обрела наконец спокойствие под землей, в теплой, пахнущей глиной и сыростью норе, на осыпи, где Волга и Мурат положили конец ее страданиям...

СНЕГ

Пошел первый снег. Под вечер от низких серо-синих туч оторвались первые снежинки. Сначала редкие, нерешительные и беспомощные, они таяли, едва коснувшись земли. Они словно не хотели падать, долго кружились в воздухе и даже казались не белыми, а скорее серыми, под цвет туч, из которых они сыпались. Постепенно снег повалил гуще, и вскоре в небе плясали уже целые рои снежинок.

Наступила ночь, и все стало серым, точно чья-то огромная невидимая рука сыпала все вокруг солью,— снег не сразу прикрыл безобразную осеннюю наготу. Зато когда стало светать, могло показаться, что источником света в этот день было не небо, а снег. Произошло чудо: люди проснулись добрее, лучше, чем они были, ободренные чистотой зимы. Лица у всех были светлые и радостные, словно во всех душах расцвела надежда на что-то прекрасное. С улицы было слышно, как смеется пожилой мужчина, как позвякивают медные ведра, мычит корова на соседском дворе, и все это звучало необыкновенно бодро в белой, ласковой тишине.

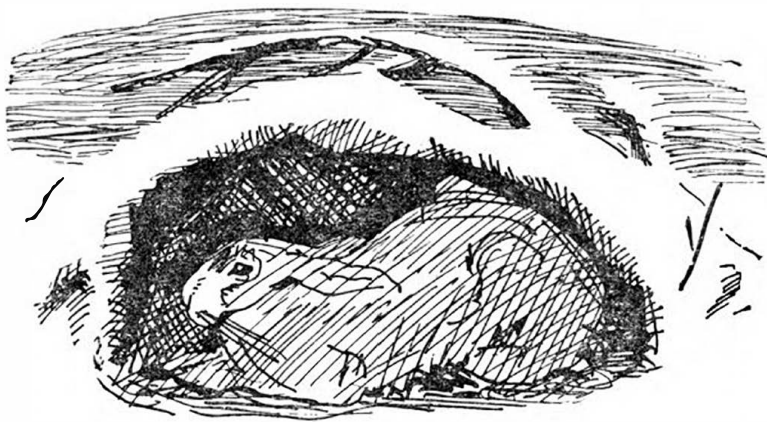
Деревья украшены снежной бахромой. Очарованные своим белым нарядом, они не шевелятся, чтобы как-нибудь его не стряхнуть. Солнце встало улыбчивое, словно радо было снова увидеть землю, и издалека примеривалось, куда бы ему кинуть первые свои лучи, где для почина зарумянить снег. Певчие дрозды, которые накануне вечером прилетели в сады и дворы на окраине города, вдруг раскричались и запрыгали вдоль заборов и плетней, где сохранились еще полоски черной земли. А один яблук поспешил усесться на самую верхнюю веточку яблони. Он сидит там, повернувшись прямо к востоку, растопырив крылышки, залитый сиянием снега. Красная грудка его пламенеет — он похож на яблоко, забытое летом... Начинается игра света на снегу. Окрестные холмы отливают красным, синим, фиолетовым, пока солнце не засияет наконец и снег не заблестит, как сахар...

Дед Мирю подошел к нашему дому в громадных сапогах, в желтой шляпе, в неизменной своей серой фуфайке. Постучал в окно, улыбнулся мне через стекло.

— Что сейчас делается в лесу? — спрашиваю я.

— В лесу сейчас интересно, — отвечает он.

— А что? Расскажи мне.



И он заходит к нам и начинает рассказывать.

Вот что он рассказывает. Этой ночью в лесу была большая паника. Молодые зайцы, не видевшие снега, ужасно испугались, когда земля побелела. Один зайчонок, который провел день под кустом терновника, не посмел выйти на жировку. Ведь поля стали белые — любой зверь может его заметить и за ним погнаться! Он благоразумно забивается поглубже и так и сидит под кустом, съежившись, прижавшись к земле. Другой заяц, постарше, еще с вечера понял, к чему идет дело, и окопался на склоне обрыва, под бородатым корнем. Там и сухо, и безопасно — кромка обрыва защищает от снега. Но и этот заяц предпочел поголодать, чем пускаться сейчас по лесу.

Стая куропаток укрылась в ложбине, под защитой густого кустарника и колючек. Старый петух всю ночь прислушивался, не идет ли лиса. А молодая лисица вылезла из норы и, увидев снег, испугалась. Она с недоумением смотрела на белое одеяние земли и наконец поставила на снег одну лапку. Лапка почувствовала холод и отдернулась, будто ее ожгло. В конце концов лиса решила все равно выйти на охоту, потому что была слишком уж голодна. Она пошла, а за ней потянулась цепочка следов... Лиса пришла в ужас. Никогда еще она не видела, чтоб ее следы так ясно отпечатывались по земле, и это очень ей не понравилось...

Но хуже всего пришлось белкам. Стоит какой-нибудь из

них вылезти из дупла и спуститься по толстой коре дуба, следы ее так четко отпечатаются на снегу, что куница увидит их издали, и тогда пиши пропало! Там, под тем деревом, лежит несколько камней, а под камнями белка устроила склад провизии. Пойдешь на склад, следы тут же и скажут: «Здесь есть орехи и лесные, и грецкие, и буковые орешки найдутся. Добро пожаловать!»

А в это время куница раздумывает, глядя на снег: «Что, если эта проклятая птица, филин, увидит меня в белом лесу? Нет уж, лучше я поголодаю. Никуда не пойду! Спать лягу». И она сворачивается клубочком в своем дупле, старается не думать о предательском снеге и погружается в глубокий сон. Но скоро по всему лесу, по теплым укрытиям, по ложбинам и кустам, голод начинает свою искусительную работу.

Он советует зайчонку: «Вылезай, вылезай закусить. Знаешь, какая сейчас сочная ботва, какие вкусные остались в земле корешки на убранным капустном поле! А вдруг и морковку найдешь...» «Конечно,— говорит он кунице,— тебя может увидеть филин, но и ты легко увидишь заснувших на ветках птиц». А куропаткам он шепчет: «Летите к деревне. Там у плетней всегда найдется какая-нибудь пища. Ну, летите же!»

На другой день он уже всех уговорил. Такого им нарасказал, так запел в их пустых желудках, что куропатки уже к вечеру не выдержали, полетели к деревне. Потом из куста вылез зайчонок, прислушался и прыгнул на снег. Снег легонько хрустнул, но для тонкого заячьего слуха это был страшный шум. Зайчонок испугался, сделал трехметровый прыжок и, прижав уши к спине, понесся по лесу. Он доскакал до поля, потом до огорода у шоссе. Там он разрыл снег и нашел остатки капусты. Голод отпустил его, перестал давать советы, и тогда заговорил страх: «Кумушка лиса пойдет по твоему следу и поймает тебя. И собаки за тобой погонятся. Путаай следы, пускайся на хитрости!» И молодой заяц начал хитрить. По три раза он возвращался на одно и то же место. Потом выскочил на шоссе, пробежал по колее, скрыв в ней свои следы, с шоссе перескочил на насыпь и — прыг-скок — двинулся вдоль оврага. «Делай большие прыжки то туда, то сюда, отскакивай в сторону, сбивай их с толку. Уже светает», — советовал страх. Наконец он увидел недалеко от опушки водомоину. Там росли две-три колючки и виднелась полоска сухой земли, не покрытой снегом. Заяц поднатужился, прыгнул на сухую землю и слился

с нею. Взошло солнце и осветило водомоину. К полудню снег начал падать с ветвей в лесу, и заяц то и дело вздрагивал от этого шума.

Куница решила перехитрить филина и не стала слезать с того дерева, где было ее дупло, а перескочила на соседнее дерево и запрыгала с ветки на ветку, чтобы не оставлять на земле следов и в то же время поймать какую-нибудь птичку. Белка сделала то же самое. Только кумушка лиса не стала скрывать следы. На рассвете она вернулась в свою нору под скалой, и всё тут. Кто хочет, пусть бежит за ней... И еще многое другое произойдет следующей ночью в лесу. Если хочешь сам все увидеть, смажь свои башмаки жиром, чтоб не промочить ноги, и пойдем со мной завтра на охоту.

Вот что примерно рассказал мне дед и ушел домой.

ВЕСНА В ЯНВАРЕ

Нет леса красивей, чем смешанный. Осенью, когда бук, осина, береза и липа начинают одеваться в лимонно-желтые, огненно-красные и оранжевые наряды, когда между переливающимися красками листвы показываются черные, голые ветви, а среди лиственного леса по-прежнему зеленеют темные сосны или синеют, точно дым, ели, от этой картины не отвести глаз. Если же выпадает немного снега, тогда хвойные деревья кажутся еще зеленее, еще сочнее, будто сукно на серебряном столе. Свежок присыпал землю, в лесу стало сыро, и только под соснами, где затаился полумрак, сухо, и земля там покрыта толстым слоем крепких серо-желтых игл, словно расстелен по земле шершавый, колкий матрац. Ветра нет, и лес неподвижен, ни одна ветка не дрогнет. Несколько соек перелетают с дерева на дерево и о чем-то сплетничают. Лесная дорога пересекает буковый лес и теряется меж соснами.

В такой смешанный лес, довольно далеко от города, мы осенью ходили два-три раза на охоту. Там водились косули, зимой встречались и голодные волки. Но мы не подстрелили ни косули, ни волка. Только одна лиса оставила у нас в руках свою шкуру и несколько вальдшнепов повисло на моем поясе. Но сколько птиц было в этом лесу в октябре! Несколько семей дятлов, как настоящие столяры, целыми днями стучали на деревьях. Среди них были и совсем маленькие, был и один боль-

шой, черный, как уголь, с красным теменем, который как-то особенно пронзительно кричал. Когда он, упершись хвостом в ствол какого-нибудь загнившего бука, начинал долбить своим крепким клювом, кусочки коры и древесины летели во все стороны. Найдя толстого белого червяка, молодчага в красной фуражке торжественно оповещал об этом событии всех лесных обитателей. Потом он запускал в выдолбленное отверстие свой длинный язык, насаживал на него червя, проглатывал его и с тем же пронзительным криком перелетал на следующее дерево. Свиту его составляли штук двадцать синиц, один пестрый дятел и несколько королек. Пестрый дятел напоминал мне вышивку белыми и черными нитками. Он так высоко забирался на деревья, что я терял его из виду и только слышал, как он стучит своим маленьким клювом и ползает по веткам. Зато синички были так доступны наблюдению и к тому же так разнообразны по виду, что я изучал их часами. Среди них были птички с синеватым оперением, нежные, как пушинки, или, вернее, как заячьи хвостики, с маленькими хохолками на голове; были и другие, с длинными хвостами, похожие на большие ноты. Это были беспокойные и подвижные пичуги — появлялись вдруг по семь-восемь сразу, разлетались по кустам и ползали по веткам вниз головой. Они казались членами одной большой семьи. Что касается королек, то они были просто невидимы — настолько малы, что глаз едва находил их среди зеленых иголок сосны или синеватой хвои елок. Только песенка выдавала их присутствие. «Сюит, сюит, титере!» — поет малыш, побратим крапивника. И вся эта птичья дружина летит вслед за черным дятлом, перепархивает с дерева на дерево, с ветки на ветку, а за ними летит ореховка и трещит, как трещотка, и ругается не переставая.

Иногда на птичек налетает ястреб. Они с испуганным писком кидаются в разные стороны и прячутся, а разбойник, притаившись в ветвях какого-нибудь дерева, подстерегает их, тараща свои страшные желтые глаза. В таких случаях я просил деда Мирю застрелить ястреба, дрожащей рукой показывал, где он таится, и весь обмирал, пока старик вскидывал ружье. Почти всегда ястреб, раненный, падал на землю, переворачивался на спину и, глядя на нас горящими злобой глазами, впивался в сапог деда Мирю, который и клал конец его бандитской жизни.

Осенью мы приходили в этот лес и за вальдшнепами. Мы

искали их с Зымкой у соснового бора. Они прилетали с далекого севера, из Советского Союза, из Швеции и Финляндии, где много хвойных лесов. Здешний вечнозеленый лес привлекал их, напоминая родные места. Зымка шныряла по лесу, делала стойку у какого-нибудь куста, тело ее трепетало, как струна, и вальдшнеп поднимался, мягко всплескивая своими широкими бархатными темно-коричневыми крыльями. Раздавался выстрел, птица падала вниз головой, а в воздухе продолжали кружиться несколько перышек, вырванных дробинками. Я спешил взять птицу из пасти у Зымки, чтобы полюбоваться неуловимыми переливами ржаво-коричневых полосок и пятнышек, незаметно переходящих одно в другое, погладить ее плюшево-мягкую спинку. Какой у нее большой черный, высоко посаженный глаз! Как ласково и весело блестит ее зрачок! Какой длинный, чуть запачканный на конце клюв на ее крупной голове! Клювом вальдшнеп отыскивает червячков или, запустив его в мягкую почву, достает нежные корешки. У него пестрая расцветка ночной птицы, а попахивает от него дубовой гнильцой...

— У вальдшнепа нет желудка, — объяснял мне старик. — Вместо желудка у него кишка расширяется в мешочек, и все! А другие кишочки у него скручены, как длинная и тонкая веревочка. У него нет желудка, а у голубя и косули нет желчного пузыря.

Случилось так, что в январе, в самые сильные холода, мы снова пришли на охоту в этот лес.

День был ясный, морозный. Глубокий снег завалил весь лес, и он словно сдался на милость зимы. Мы шли под деревьями, как по снежным туннелям, полным мягкого, радующего душу света. Повсюду нас встречали точно явившиеся из далеких веков всадники, старухи, чьи-то растопыренные огромные руки — Дед-Мороз слепил их из пушистого снега, наверное, потому, что ночью ему было очень скучно. Снег на ветках, освещенный утренним солнцем, блестел, а тишина была такой плотной, такой мягкой, что скрип снега у нас под ногами заставлял меня вздрагивать. Заячьи следы лежали на снегу, как голубое кружево. Лисы окружили поляны бесконечными четками своих шажков. Хрупкие кусты, покрытые цветами мороза, казались сделанными из тончайшего белого мрамора.

И вот среди этой невозмутимой тишины слышались чуть

тревожные, но в то же время и веселые звуки: «Цик-дик-цик! Цек-цек, цок-цок!» Какие-то птицы пролетели над моей головой. Я вышел на маленькую полянку, и мне представилось красивейшее зрелище. Передо мной на ветвях ели, усеянных тяжелыми шишками, сидело с десяток ярко-красных пичужек. Они разместились на тонких ее ветвях в самых причудливых позах, словно ель эта была не лесное дерево, а огромная новгородная елка, украшенная румяными яблоками. Одни птички висели вниз головой, другие поперек дерева, ухватившись одной лапкой за одну ветку, а другой — за другую, третьи словно повисли на клювах. Маленькие водопады сбиваемого с веток снега искрились в морозном воздухе. С дерева падали шишки, сбрасываемые птичками.

Одной из птиц надоело клевать шишки. Она перепорхнула на соседнее дерево, села на самую его верхушку, сверкая на солнце своей красной грудкой, и оттуда посыпались, словно зернышки, веселые, не слишком музыкальные, но чрезвычайно бойкие и бодрые звуки. При этом пичуга приподымала крылышки и часто крутила своим коротким, твердым хвостиком, как это делают по весне скворцы...

Ни одна птица не поет в январе, а эта пела. Она словно радовалась заснеженному лесу, морозу, январскому деньку, как будто перед ней были не снег и лед, а апрельская зелень...

Удивленный, я подошел к ели и стал вблизи разглядывать незнакомых птиц. Они меня не пугались. Напоминали они больше всего попугаев, клювы у них были загнуты, как зубо-врачебные щипцы. У одних грудка оранжево-красная, у других — ярко-алая. Мне в ноги упала шишка. Я поднял ее. Толстые, крепкие чешуйки ее были разорваны и семечки из-под них вынуты. Очевидно, они и составляли пищу этих птичек.

— Это ты клестов-еловиков видел, — сказал мне дед Мирю, когда я вернулся к нему и поделился с ним своим открытием. — И я слышал, как они поют. Поют, потому что у них сейчас птенцы.

— Как — птенцы? В это время?

— Да, в это время. Самка сидит на яйцах, а самец поет, как поют весной все другие птицы.

И дед рассказал мне, что клесты прилетели в наш лес потому, что в этом году здесь ель особенно хорошо уродила, и

что клесты могут выводить птенцов в любое время года, смотря по тому, когда в лесу больше всего пищи.

— Но как же они их высидают? Ведь птенцы замерзнут? — спрашивал я, все еще полагая, что старик шутит.

— Пойдем поищем гнездо, — сказал он.

Мы подошли к одному клесту, который пел недалеко от нас. После долгих усилий, заглядывая в гущу ветвей, старик первым заметил порядочной величины мешочек, прочно прикрепленный к освещенной солнцем верхушке ели. Мешочек был сплетен из мха и каких-то волокон.

— В этом мешочке самка и сидит сейчас на яйцах, — сказал старик. — Сидит и не вылезает. Самец приносит ей пищу. Он кормит ее с того дня, как она снесет первое яйцо, и до тех пор, пока не вылупится последний птенец... Клесты — все равно что цыгане-бродяги. В этом году они здесь, на будущий их уже нет. Перекочевывают туда, где будет пища. Видишь, что значит еда! Голод не тетка. Некоторые думают, что для размножения ничего, кроме весны, не нужно — тепло, и все, а вот для клестов тепла недостаточно, нужна еще и пища. А тепло он сам себе обеспечивает с помощью своего крепкого клюва. Видишь, какое большое и прочное гнездо он себе построил, а все благодаря клюву — им он расщепляет кору на тонкие волокна. И еще у этой птички другое замечательное свойство: ее мясо не портится. Мне случалось ее подстрелить, просто так, чтоб разглядеть получше, — когда я был молодой. Положу ее в комнате в нишу, она лежит там по многу дней и не протухает. Я спросил одного ученого человека, и он мне сказал: «Это потому, что клест питается семенами, в которых много смолы». Вроде как бальзамирует себя при жизни...

Дед Мирю засмеялся, и под его заиндеветыми бровями молodo блеснули серые глаза.

«Цик-дик-дик! Цок-цок-цок!» — пел на дереве около нас клест-самец, сверкая на солнце своей красной грудкой и подрагивая крылышками, словно стараясь уверить нас, что ему сейчас так же хорошо, как хорошо другим птицам весной. Солнце немного прогрело воздух. Подтаявший снег посыпался с ветвей одной из елок. Ветки, освобожденные от тяжести, подпрыгнули вверх, и в воздухе, как стеклянная пыль, заблестели тысячи снежинок. Волга и Мурат подняли зайца и погна-ли его вверх по ложбине, на дне которой еще таилась холодная лиловатая тень.

ДИКИЕ ГУСИ

С приходом зимних холодов над городом появились первые стаи диких гусей. Выстроившись то клином, то огромной дугой, они летели в сторону гор и, подобно тонкой черной нити, постепенно втягивались в низкое, затканное тучами небо. Но не проходило и получаса, как в небе снова раздавалось жалобное гоготанье — цепочка гусей вырисовывалась все яснее и яснее, и вот уже можно было различить отдельных птиц. Вытянув вперед свои длинные шеи, они ритмично махали крыльями и, на что-то жалуясь друг другу, пролетали над засыпанными снегом улицами городка.

Как сладко и волнующе для уха охотника звучит их нежное и звонкое гоготанье! Выйдешь на улицу, посмотришь, как кидаются то туда, то сюда гусиные стаи, пытаешься одолеть страшные, окутанные тучами горы, и начинаешь понимать, как неумолима зима, как жестоко преследует она тысячи живых существ и как властно гонит их все дальше на юг. Эти птицы одни только будоражат и оживляют тяжелое серое небо, и в их плачущих голосах звучит суровость зимы. Они кажутся мне бесприютными сиротами, детьми, гонимыми бессердечным властелином.

Всю ночь они гоготали над городом, наполняя морозную декабрьскую ночь своими звонкими криками, — словно по небу катились сани с серебряными бубенцами. Их домашние собратья посылали им со дворов дружеские приветствия. Только под утро умолкли их голоса. Дикая гуси опустились на дневку.

Утра нет, потому что нет и рассвета. На востоке, пробив толстую туманную одежду неба, на короткое время появилось небольшое мутно-красное пятно, но вскоре растаяло и исчезло. Однако свет, как будто излучаемый прямо снегом, разлился по земле, и равнина показала свою чистую белую грудь, на которой темнела вода реки. Лед сковал заводи, тонкая корка легла вдоль берегов, где течение быстрее, а дальше, на льду, образовавшемся этой ночью, нарисована искусная мозаика. Вода в реке кажется черной среди белизны поля. И вот туда, где берег открытый и ровный, и опустились дикие гуси.

Некоторые из них еще спят, завернув голову под крыло, только на кучках щебня, на самых высоких точках, бодрствуют, вытянув вверх шеи, гуси-сторожа.



Трудно охотнику подобраться к ним. Они не подпустят его и на сто метров. Поэтому мы с дедом Мирю решаем их обмануть. Мы разделяемся. Я иду к гусям, а он скрывается за заснеженными вербами, склонившими до самой земли свои белые одеяния. Он исчезает за ними, а я иду к стае и насвистываю на ходу, как велел мне дед. Расстояние между мной и гусями все уменьшается. Я ясно вижу ржаво-коричневые полосы у них на груди, строгие профили стражей. Вдруг раздается резкий, тревожный гогот, и все гуси вытягивают шеи: на снегу точно вырастает невысокий лес. Я все иду и иду, посвистывая, по белому полю. Наконец гуси взмахивают крыльями, поднимаются и длинной, плотной цепью быстро летят в сторону верб. Как плавен и стремителен их полет! Ледяной воздух звенит под напором крыльев... И тут из-за верб вырывается короткий красный язык пламени, и раздается треск, снова вспышка и снова треск. Один гусь, качнувшись, растрепанным клубком падает в снег, другой резко летит вниз. Я радостно бегу к вербам, но вот второй гусь, который еще не достиг земли, выправляется и над самыми верхушками деревьев

издает жалобный крик. Из стаи к нему устремляются еще две птицы, подхватывают с двух сторон раненого товарища и, подбадривая его частым гоготом, уносят за собой все дальше и дальше...

Дед Мирю держит убитого гуся за шею и, протягивая его мне, чтоб я его рассмотрел, говорит немного смущенно:

— Видишь, какие гуси хорошие товарищи? Как они спасли раненого! Из-под носа у меня увели. А я, дурак, уже считал, что он мой, не перезарядил ружья...

И снова устремляется то к северу, то к югу испуганная стая. Выстраивается в клин, поднимается все выше и старается перелететь через горы. И снова слышно, как катятся по небу сани с бубенчиками...

Однажды, когда мы бродили по болотистой равнине у реки в поисках диких уток, мы увидели издали два серых пятна. День был солнечный. Снег местами сошел, но на серо-зеленой, побитой морозом равнине все еще лежали большие белые пятна. Будто кусочки зеркала, сверкали лужи, отражая солнечные лучи и слепя своим блеском.

— Вроде гуси,— сказал старик. Он приставил руку к глазам и всмотрелся в серые пятна.— Ну-ка, глянь, у тебя глаза помоложе. Шевелятся или нет?

Я напряг зрение, но ничего нового не увидел.

Мы пошли вперед, прошагали метров сто, и тогда ясно различили силуэты двух гусей. Они не двигались и следили за нами.

Не было никакой возможности подкрасться к ним незаметно. Равнина лежала перед нами просторная и голая. На западе она переходила в поля, а на юг, вдоль реки, тянулась все та же плоская, как тарелка, усеянная лужами земля. Недалеко от гусей паслось стадо овец. Пастух, который стоял, опершись на свой посох, закутавшись в толстый войлочный плащ, напоминал издали маленький цыганский шатер. Дед Мирю пошел к нему.

Пастух оказался его знакомым. Они поговорили об овцах, о том о сем, и дед Мирю попросил пастуха подогнать свое стадо поближе к гусям.

— Не намокли бы овцы. Там топко,— сказал пастух, но вышел вперед и повел стадо.

Мы пошли за ним, не пытаясь прятаться.

Гуси стояли неподвижно и смотрели, как мы подходим.

Оба были обращены к нам в полный профиль — один чуть позади другого. Тот, что стоял сзади, был немного меньше второго и казался спокойнее, — видно, он предоставил своему товарищу решать, сниматься ли им с места или нет.

Овцы почти бежали, так как пастух волновался и спешил. Окруженные этой живой, колышущейся массой и словно увлекаемые ею, мы подошли к гусям шагов на сорок. Тот, который стоял чуть впереди, вздрогнул. В тот же миг старик вскинул ружье и выстрелил, но промазал. Гусь взлетел, другой тотчас, расправив крылья, последовал за ним. Дед Мирю выстрелил еще раз, и второй гусь, издав протяжный и жалобный крик, упал, сшибленный дробью. Он был ранен смертельно, но все же успел поднять голову и еще раз отчаянно позвать своего товарища, словно моля не оставлять его одного. Тот ответил таким же душераздирающим криком и вернулся. Его широкие крылья трепетали над нами. Он смотрел сверху на свою подругу, которая лежала на земле, откинув голову, и звал ее. Старик успел снова зарядить ружье, выстрелил, но не попал. Гусь поднялся, испуганный свистом дробы, и полетел к горам, чьи снежные вершины, озаренные заходящим солнцем, горели прекрасным рубиновым светом. Но минут через десять он вернулся, сделал над нами широкий полукруг и опустился метрах в ста.

Мы убили самку. Гусь не хотел покидать это место, и мы попробовали еще раз обмануть его с помощью овец.

На этот раз наша хитрость не удалась. Гусь, не подпуская нас к себе, поднялся, и по голубому, прозрачному, все еще зимнему небу скользнула его вытянутая вперед шея, испещренные белыми полосками крылья, сине-серые подкрылья. В косых лучах солнца сверкал белый хвост, и с каждой минутой гусь казался все более красивым и недостижимым. По блестящим лужам и влажной земле бежала его тень. Гусь продолжал звать свою подругу, и, чем дальше он улетал, тем печальнее становились его крики. Наконец он сел где-то на равнине.

Мы отправились искать его. Долго мы осматривали топи, на которых лежала тень гор, долго бродили, увязая, по мокрой земле. Потеряв надежду и измучившись, мы повернули к городу. Неожиданно недалеко от нас с земли сорвался дикий гусь. Он вылетел из меры выстрела, и старик даже не стал снимать с плеча ружье.

Гусь полетел к полям.

— Смотри-ка, где он отсиживался,— сказал дед Мирю, удивленным взглядом следя за птицей.— Когда ж он сюда прилетел? Во-он там сидел, за теми вербами. Чудно!

Мы были уверены, что это тот самый гусь. Но позади слышался торжествующий крик, и над равниной понеслась другая птица. Она с предельной скоростью летела к полям. Это и был наш гусь. Бедный, он вообразил, будто та птица — его подруга. Как радостно он гоготал, какой восторг звучал в его крике! Он догнал незнакомую птицу, поравнялся с ней и вдруг, поняв свою ошибку, замолчал. Птицы разделились и сели далеко друг от друга. Может быть, обе были гусаками, вдовцами. Теперь они проведут ночь среди полей, печальные, чужие друг другу, и всё будут вглядываться с надеждой в темноту — не послышится ли оттуда знакомый зов подруги...

Солнце скрылось, и свежие вершины гор посинели. Последние теплые, алые блики на них погасли. Только самая высокая вершина еще хранила свет и, сверкая, точно огромный обледенелый корабль, вычерчивала линию своих утесов на вечернем небе...

КРАСАВИЦА ДИКАРКА

Через несколько лет я страстно увлекся охотой на болотную дичь. Хотя у меня все еще не было охотничьего билета, я не пропускал ни одного воскресенья и ходил на болото, где мы с дедом соорудили примитивный скрадок для охоты на уток и гусей. Этот скрадок представлял собой, в сущности, большую дубовую бочку с крепкими дугами, которую мы закопали глубоко в землю, неподалеку от воды. Сверху мы покрыли бочку досками и жестью, а на них навалили дерн, вырезанный тут же, поблизости.

Сначала у нас не было подсадных, и мы использовали обыкновенных домашних уток. Но на второй год один знакомый охотник привез нам откуда-то из Фракии четырех чудесных подсадных. Двух селезней мы пускали в воду на привязи в один ряд, перед скрадком, против них сажали уток, залезали в нашу бочку, которая постоянно подтекала и пропускала пахнущую гнильем воду, и ждали, пока на воду сядут дикие утки.

Равнина простиралась вокруг однообразная и унылая. Только болотца поблескивают и ветер рябит воду. По серому февральскому небу проползают полные снега тучи. На востоке горизонт уже пожелтел, но солнечные лучи еще не достают земли. Тонкая ледяная корка, схватившая края болотца, отражает далекую, скрытую облаками зарю. Ветер усиливается, и вдруг начинает сыпать мелкий снежок, а там уж и замело. Потом все проходит, ветер сникает, и над побелевшей слегка равниной воцаряется чудная тишина и покой. Солнце прорывается сквозь тучи, подобно стеклянному светильнику, застрявшему там еще с ночи. Воздух наполняется мягким светом, и хочется ходить и ходить по этой притихшей, ласковой земле, где все так спокойно и так прекрасно.

Наши подсадные купаются в болотце или сидят на своих четырех кружках и, весело болтая на утином языке, поглядывают на небо. И вот они начинают крикать.

Над равниной показываются четыре дикie утки: передняя, крикva, ведет за собой троих чирков, которые кажутся ее детьми. Выстроившись косоi линией, они пролетают на юг, потом поворачивают и спускаются на болото где-то далеко от нашего скрадka. Подсадные замолкают. Мы с дедом Мирю обмениваемся разными предположениями и толкуем о том, удачная у нас нынче будет охота или нет.

Не проходит и пяти минут, и наши подсадные снова начинают крикать. Сквозь круглые бойницы, в которые просунуты дула наших ружей, нам ясно видна большая стая диких уток. Они летят высоко, стремительно и быстро проносятся над нами. Их белые подкрылья поблескивают, точно отлитые из платины. Стая почти исчезает из виду, не обращая внимания на призывы подсадных, но вот она разворачивается и летит обратно, минует черную полосу верб, то растягиваясь, то сбиваясь в плотное ядро, и направляется к нашему болоту. Утки, опустив отвесно крылья, со свистом пролетают над скрадком и одна за другой опускаются на воду. Вода словно закипает. Наши два селезня, встревоженные появлением диких соперников, быстро машут своими короткими хвостами. Их подруги радостно приветствуют диких сестер. «Бжит-бжит!» — сердятся селезни. «Кря-кря-кря!» — волнуются утицы. Только гости молчат. Сидя густо одна к другой, они застыли, задрав головы, точно предчувствуя что-то недоброе. Все они сверкают чистотой. Темно-зеленые головки селезней отливают бронзой. С белыми

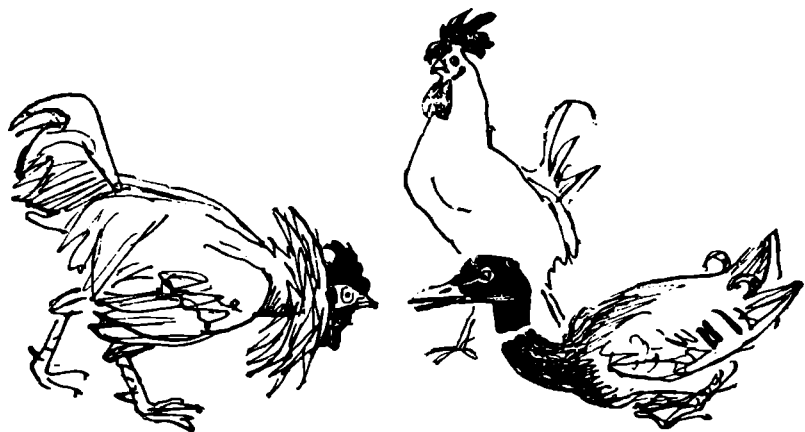
ошейниками, с лиловыми зеркальцами на крыльях, с серо-сиреневой грудкой, с темными бархатными хвостиками, зеленоватые косички которых завиваются колечками, они похожи на знатных гостей, на женихов, разодевшихся для свадебного пира. Среди них желтеют скромными серо-коричневыми нарядами их подруги, миловидные и более спокойные,— видно, они рассчитывают на бдительность своих кавалеров. И все это блестящее свадебное общество, эта густая масса слегка покачивающихся на воде диких уток так близка к нам, что глаз различает каждый оттенок на перьях, каждый полутон вместе с отражением его в воде...

Тогда охотничья страсть перерастает в наших душах в настоящее безумие. Страшное пламя зажигается у нас в глазах, руки дрожат. Мы тихонько просовываем дула ружей в узкие круглые отверстия. Щеки прижимаются к прикладам, пальцы — к куркам, и мы командуем себе: «Раз... два... три!» Четыре выстрела гремят вразнобой. Болото снова закипает, снова хлопают крылья, снова крикают наши подсадные, словно испытывая предательскую радость при виде раненых и убитых диких птиц. Одни перевернулись на спину и машут лапками, будто прощаются с оставшимися в живых подругами. Другие, подранки, пытаются нырнуть, ища спасения в воде. Третьи спешат выйти на берег и, переваливаясь на коротких коралловых лапках, спасаются бегством. Мы вылезаем из бочки и, шлепая по болоту, подбираем убитых и ловим раненых птиц...

Среди раненых уток как-то раз я присмотрел себе одну пару. Обе птицы были ранены в крыло, не слишком опасно, но улететь не могли.

Я отнес их домой и на всякий случай подрезал им ножницами маховые перья. После этого я посадил их в клетку, насыпал им кукурузы и поставил воды. В клетке они провели несколько дней, а когда привыкли ко мне и немного приручились, я выпустил их к курам, во двор, окруженный высокой каменной оградой.

Появление диких уток вызвало в курином обществе необычайное оживление. Сначала они прятались в траве у ограды и сторонились домашних птиц. Селезень не смел даже крикнуть. Он неизменно ходил следом за своей серенькой робкой подружкой, поглядывал на небо и всегда был начеку. Парочка предпочитала проводить время в бурьяне и только к вечеру выходила пощипать низкую люцерну в нижней части двора. Чтoб им



было где купаться, я выкопал яму и наполнил ее водой. С тех пор они стали большую часть дня болтаться в этой луже. Казалось, между ними и домашними птицами никакого общение невозможно. Но так было только первые два дня. На третий день произошло нечто необъяснимое: красный петух начал ухаживать за уткой. Селезень кипел негодованием и ревностью. Между ними началась борьба, в которую скоро вмешался и второй петух, который тоже не остался равнодушен к серенькой дикарке. С утра до вечера трое соперников выдирали друг у друга перья. Во дворе слышалось то сердитое криканье, то гневное ворчание петухов, то кудахтанье; перья летели во все стороны. Турниры не прекращались ни на минуту. Куры были совершенно забыты своими покровителями, а серая дикарка гордо прохаживалась взад-вперед и, переваливаясь на своих кривых лапах, знать ничего не хотела о страданиях и битвах троих своих поклонников. Она словно создавала неотразимость своей красоты иставляла ее непоказ, назло глупым курам. На следующий день красный петух едва не пробил голову второму петуху. С гребешков обоих текла кровь, она уже запачкала им шеи и перья, но борьба с небольшими перерывами продолжалась до самого полудня, пока силы обоих не иссякли. Что касается селезня, он оказался выносливее всех. Сражался он по-своему — хватал

клювом одного из петухов и не отпускал, пока в клюве его не оставалось несколько перьев. Иногда он дрался одновременно с обоими петухами, иногда заключал союз с одним против другого. Только ночью, когда петухи и куры рассаживались по веткам большой шелковицы, селезень успокаивался и, никем не тревожимый, отдавался своим чувствам. Но даже и тогда петухи, заслышав его нежное кряканье, посылали ему с шелковицы строгие предупреждения.

Кто знает, чем бы все это кончилось, не вмешайся моя мама. Ей надоели крики и кудактанье, драки и свары в нашем дворе.

Однажды утром, когда я был в школе, она зашла во двор и после короткой борьбы с селезнем схватила красавицу смутьянку и обменяла ее у какой-то крестьянки на молодую курочку.

Во дворе установилось спокойствие. Петухи притихли. Их неверные сердца снова обратились к прежним покорным подругам. Все пошло по-старому. Только селезень не успокоился. Он перестал есть. С утра до вечера и с вечера до утра он искал свою дикарку по всем уголкам двора, призывно и тоскливо крякая. На четвертый день он умер недалеко от их лужи. Я нашел его перевернувшимся на спинку, как умирают утки, сраженные выстрелом...

ВЕШНИЕ ВОДЫ

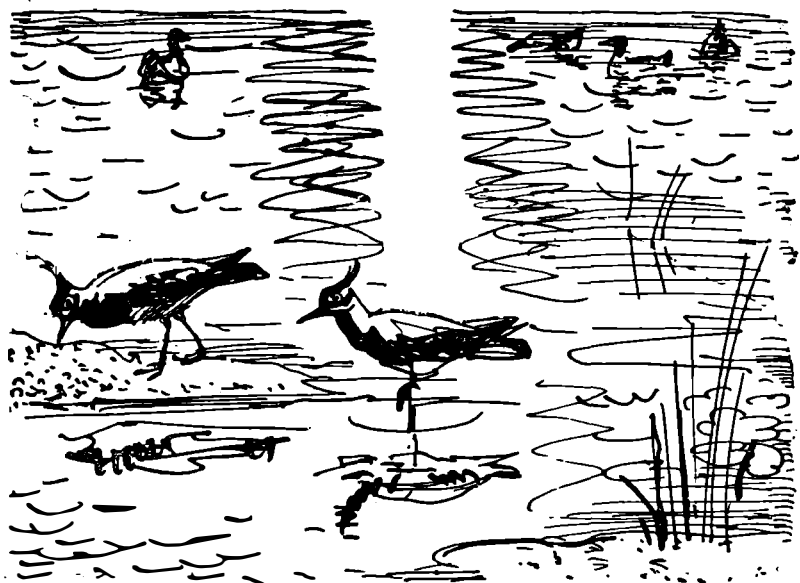
В конце марта солнце поднимается высоко, день становится равен ночи, и повсюду на напоенной влагой равнине начинает расти молодая, желто-зеленая роскошная трава. На болотах и мочажинах показываются заостренные листья тростника, еще маленькие водяные лилии, толстый и мягкий рогоз. Дикая гвоздика и всевозможные болотные травы быстро прорастают на влажной, хорошо удобренной почве. Вся равнина начинает весело зеленеть; то тут, то там блеют овечьи отары, новорожденные ягнята резвятся возле маток. Кое-где пасутся отощавшие лошади, которые провели зиму в конюшнях и теперь дорвались до зеленого корма.

Утра еще холодные, но, если ветра нет, к полудню солнце уже крепко припекает. Легкие испарения затягивают равнину. Горы со своими снежными вершинами окутываются теплой

влажностью и словно растворяются в ней. Вода блестит мягким свинцово-серым блеском, и, куда ни глянь, в ней купается весеннее солнце. В воздухе стоит запах сырости и гнили, но его все больше перебивает запах молодой зелени, которая отражается во всех болотцах и лужах.

В такие полуденные часы лягушки, словно по команде, вдруг открывают свои оглушительные и торжественные концерты. Их кваканье без передышки перепиливает воздух, а из нашей бочки выползают всякие букашки и пауки, перезимовавшие в ее пазах. Они ползут по одежде, которую мы сняли, потому что стало уже очень тепло, по нашим ружьям и патронташам и даже по лицам, когда мы, сбросив с себя все лишнее, подставляем грудь ласковым лучам. Зажмурившись, и кажется, будто воздух вокруг тебя заряжен солнечной энергией. Душа упивается кипением новой жизни, в ушах стоит немолкнущий лягушачий хор и далекое блеяние овец, глаза не могут насытиться блеском зелени, и хочется смотреть не отрываясь на эту сверкающую воду, в которой купается солнце. Даже топкие, лохматые лошади ощущают животворную силу этих часов, и вот уж одна заржала радостно, бежит, разбрызгивая воду, по лужам, а из-под копыт ее взлетают брызги, словно серебряные монеты.

Самые разнообразные болотные птицы летят над равниной. Стаи чирков, поблескивая белыми брюшками, увлеченно играют в дрожащем воздухе, наполняя его своим потрескиванием. Там, глядишь, взлетит бекас, вскрикнет резко, сделает несколько зигзагов, пулей пронесется над болотом и камнем упадет в траву. По голым полянам у реки быстро прохаживаются светло-серые крупные, величиной с курицу, птицы с длинным, загнутым на конце клювом. Они выстроились в ряд, точно кооператоры, вышедшие на работу в поле. Время от времени они взлетают, кружатся то над одним, то над другим берегом и тогда издают приятные звуки, словно кто-то пытается играть на флейте. Это большие кроншнепы, или степные кулики, которые остановились в наших краях, чтобы подкормиться, прежде чем лететь дальше, в степи Бессарабии и Украины. А над всей равниной непрерывно проносятся другие птицы, с широкими траурными крыльями. Опьяненные теплым весенним днем, они кувыркаются в воздухе, как акробаты, сверкают белыми подкрыльями, кидаются то в одну, то в другую сторону, будто наслаждаясь своим искусным полетом. Их настойчивый



писк словно обращен к вам — птицы спрашивают вас по-русски: «Чьи вы? Чьи вы?» Иногда они начинают мяукать по-кошачьи, с шумом проносятся над самой вашей головой и издали предупреждают всех болотных птиц о вашем присутствии. Они точно сторожа, добровольно взявшие на себя эту службу, и охотники их недолюбливают. Но как они красивы! На затылке у них торчит дугообразный хохолок из четырех темно-зеленых перьев. Большие черные глаза, украшенные снизу белой полоской, круглы, горячи и отличаются необыкновенной зоркостью. Перья на спинке отливают бронзово-зеленым, такого же цвета и зоб. Этих птиц, чибисов, в наших местах прозвали монашками. Если попробуешь подойти к ним поближе, они поворачиваются спиной, приподымают, раскинув веером, свои белые хвосты и будто кланяются тебе задом. Это знак, которым самцы предупреждают своих подруг об опасности. И действительно, вся стая взмывает в воздух.

Так проходит полуденные часы. Солнце начинает клониться к горам, и их огромная тень медленно наползает на равнину.

С синих горных вершин спускается холодный вечер. Лягушки замолкают, стада возвращаются в деревню, и тогда откуда-то прилетает десяток серых цапель. Они возвращаются с юга и хрипло каркают, словно приветствуя знакомые места. Теперь болотные птицы, никем не тревожимые, отдадутся своим весенним заботам: утицы будут подыскивать места для будущих гнезд, бекасы, как только стемнеет, соберутся в тростнике и начнут свои веселые игры, чибиры заночуют в полях, а мы, притаившись в скрадке, будем сквозь узкие бойницы подстергать добычу.

В одну такую мартовскую ночь, когда мы сидели в нашей бочке и вслушивались во все звуки, доносившиеся снаружи, подсадные вдруг тревожно закрикали.

Луны не было, равнина чернела, вокруг ничего не видно, кроме потемневшего зеркала нашей лужи, на котором глаз едва различал силуэты подсадных.

— Наверно, дикie утки сели на траву где-нибудь неподалеку, — сказал дед Мирю. — Они посидят там, а потом спустятся на воду, тогда будем стрелять, — добавил он.

Удивленный тем, что подсадные не сидят на своих кружках и беспокойно дергаются, я продолжал всматриваться. Вдруг на них прыгнула какая-то тень. Вода забурилась, криканье стало отчаянным. Мы схватили ружья, но, пока мы соображали, кто же это нападает на наших уток, тень исчезла. Исчезла и одна из самок-подсадных.

Теперь все стало ясно. Мы решили не отходить от бойниц и сторожить до утра.

На рассвете наши утки снова закрикали. Из травы за болотцем показалась лисья голова.

Низко пригибаясь, стараясь не шлепать и не шуметь, лиса подкрадывалась к подсадным, которые захлопали крыльями по воде. Мы с дедом выстрелили вместе. Лиса заверещала, подпрыгнула и упала замертво.

Это была самка. Наверное, у нее были лисята, ради которых она решилась на такую рискованную операцию. Кто знает, где была ее нора, быть может, у самого подножия гор, но она успела отнести туда утку и вернуться за другой...

ВОЛЧАТА И ЩЕНЯТА

В марте волчьи стаи распадаются, и матерые волчицы начинают заботиться о будущем потомстве. Они устраивают логовища в глухих, диких местах, где редко ступает нога человека и не пасется скотина. Волчица находит расщелину в скалах, какую-нибудь небольшую пещеру или непроходимые заросли, выстилает логово мхом, сухими листьями и ветками и там щенится тремя или шестью волчатами, большая часть которых — самцы.

В это время она не разбойничает поблизости, даже если вокруг пасутся тысячи овец, а ищет добычу подальше от этих мест, чтобы не выдать своего логова. На охоту с ней часто выходит и самец.

Одна такая пара появилась в том самом лесу, где я впервые увидел еловиков. Пастух Танчо, гонявший туда стадо коз, пришел в город, чтобы попросить в управлении ружье для защиты скотины. Волки нападали на его коз. Но в управлении ружья ему не дали, и наутро Танчо постучался к деду Мирю. Это был высокий, худощавый человек с глуповатым лицом, на котором наивно блестели голубые слезящиеся глазки. Рассказывая о волках так громко, что слышно было за квартал, он через каждые два слова ругался и стучал своим посохом по земле.

— Дай мне свое ружье, и я им покажу, где раки зимуют! Я тебе за это козленка подарю. Четырех коз у меня съели и Карамана придушили. Заманили в овраг, и поминай как звали, — говорил Танчо, яростно брызгая слюной.

Старик объяснил ему, что волки сейчас растят маленьких и что если не удастся сразу убить матерых, лучше всего найти волчат, но ружья своего ему не дал и не обещал достать для него другое.

— Завтра я к тебе приду и сам займусь этим делом, — сказал он, провожая пастуха к калитке.

И действительно, он с большим усердием занялся поиском волчьего логова.

Несколько дней он обходил все тропинки и внимательно рассматривал звериные следы, отпечатавшиеся на влажной земле. Обнаружив волчьи следы и прикинув, где могут проходить пути волчьей пары, он взял меня с собой в лес. Был конец марта. В лесу желтели цветущие крокусы и чемерица, чернели выруб-ки, очистившиеся от снега, а сосновый бор казался каким-то

посеревшим. Уже начинали петь дрозды. Мы пошли без ружей, прихватив с собой по палке и по большому ножу.

— Волки очень умные. Как увидят, что ты бродишь по их местам с ружьем, тут же поймут, в чем дело, и не успеешь оглянуться, а уж волчица перенесла волчат в другое место,— объяснил мне дед Мирю.

Когда мы наткнулись недалеко от соснового бора на волчьи следы, дед Мирю велел мне хорошенько рассмотреть их и показал, чем они отличаются от собачьих. Следы были продолговатые, крупнее, чем следы пастушьей собаки, и яснее проступали отпечатки когтей.

— Волчий след вытянут в одну цепочку, а собаки оставляют две,— добавил дед.— Пойдем по следу, авось поймем, какой тропой волки приходят сюда.

Мы облазили весь ближайший холм, покрытый бурыми дубовыми вырубками, скоро потеряли след и к полудню, усталые, спустились к реке, чтобы передохнуть и закусить.

Усевшись на срубленный ствол вербы, мы достали из мешка хлеб и брынзу и, глядя на быстрые прозрачные воды реки, плескавшейся у берегов и журчавшей на перекатах, принялись за еду. За рекой был холм, с которого мы спустились. Ясно были видны дороги и тропинки, прорезавшие невысокий кустарник, а позади нас лежал тот лес, где Танчо пас своих коз.

Мы жевали не торопясь зачерствевший хлеб и твердую соленоватую брынзу, когда из леса послышались крики пастуха и лай его собаки Гужи, которая теперь одна охраняла стадо. Она ходила с брюхом, донашивала последние дни, но Танчо таскал ее за собой, потому что волки задрали лучшего его сторожа Карамана и у него не было другой собаки. Пастух кричал страшным голосом, собака лаяла тревожно и злобно, и к этому шуму присоединялся еще звон колокольцев, подвешенных на шеи коз. Мы вскочили и, всматриваясь в густой, точно щетка, лес, пытались увидеть, что там происходит.

Через пять минут собачий лай умолк, стадо стало спускаться в овраг, а ругань Танчо уже едва слышалась. Мы стояли на том же месте молча и неподвижно, все еще надеясь увидеть волков.

Вдруг повыше, у берега реки, где узкая длинная поляна отделяла от воды мелкорослый лес, показалось серое животное, очень похожее на собаку. Оно остановилось и осело на задние лапы, поджав длинный хвост. Заостренные чуткие уши его

ловили каждый звук. Это была волчица. Ее можно было узнать по тощим, отвисшим сосцам. Голова у нее была высоко поднята, точно она нетерпеливо чего-то ждала. Через минуту из леса появился ее напарник. Он тащил еще живую козу, залитую кровью.

Я готов был закричать, но дед Мирю схватил меня за рукав и глазами строго приказал молчать.

Уверившись в том, что их не преследуют, волки оттащили козу в глубину полянки и там разодрали ее. Спрятавшись за вербами, мы наблюдали, с какой страшной быстротой и жадностью была она выпотрошена. Волчица скалила зубы на своего товарища, и он, прижав уши, подавался назад...

Старик тихонько свистнул. Волки отпрыгнули и неохотно отошли от своей добычи. Волчица перешла реку, несколько раз останавливалась, а потом не спеша двинулась по тропе. Волк пропал из виду в пойме реки, вверх по течению.

Мы не спустили глаз с волчицы. Сначала она бежала медленно, словно ей не хотелось удалиться от кровавой трапезы, но к середине холма, как будто внезапно вспомнив о чем-то очень важном, перешла на рысь. Не оставалось сомнений, что ее логово где-то за холмом и что по этим тропинкам она спускается на охоту.

Старик решил в тот же вечер устроить у разодранной козы засаду. Мы вернулись в город, где он взял ружье и приготовился к охоте. Как он потом рассказал мне, он взобрался на вербу и, когда стемнело, сумел застрелить волка, который не выдержал и вернулся к козе. Танчо-пастух торжествовал. Он колотил палкой убитого волка, лежавшего во дворе, и, науськивая на него Волгу и Мурата, радовался, как ребенок.

Через два дня мы снова попытались найти волчат. Гужа уже оценилась, и, когда мы проходили мимо Танчова шалаша, собака лежала в углу, а у брюха ее копошились пять серых, еще слепых щенят. Пастух сердился на собаку за то, что она не хочет ходить со стадом. Мы обшарили тенистый овраг за холмом, долго ходили по лесу и наконец решили перебраться за другой холм, где были скалы. Дед Мирю надеялся, что в этих скалах мы откроем волчье логово. Так оно и получилось...

К полудню, уже устав и потеряв надежду, мы оказались у входа в маленькую пещеру. Из круглого, мрачно темневшего отверстия несло отвратительной звериной вонью. Пещера эта была посреди скал, в небольшой ложбине, похожей на яму.

Место было дикое, труднодоступное. Кучи бурелома чернели в густом лесу пониже скал, а на камнях виднелся сочный мох.

Мы осторожно, держа наготове ружья, подошли к самой пещере, ожидая, что оттуда вот-вот покажется волчица. Но ее в пещере не было. Ее тонкий слух, наверное, давно уловил наши шаги, и она, отбежав куда-нибудь в сторону, слушала, что происходит около ее логова.

Убедившись в том, что волчицы в пещере нет, дед Мирю влез туда и вытащил волчат. Они были похожи на лохматых щенков и ничем не отличались от детенышей Гужи, которых мы видели этим утром, разве что были чуть крупнее и шерсть у них была немного темней.

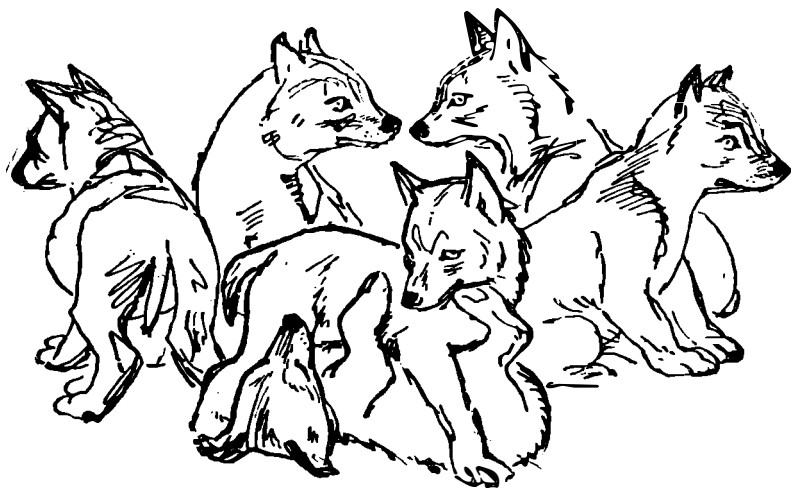
Если бы мы унесли их в город, их мать навсегда покинула бы пещеру, и тогда бы уже не было надежды ее убить. Если бы оставили их на месте, волчица перетаскала б их подальше, и нам пришлось бы снова искать ее новое логово. Она стала б еще осторожнее, и мы едва ли сумели бы его найти. А дед Мирю решил во что бы то ни стало убить матерую волчицу. Хотя за убитых волков тогда платили очень мало, но старик был беден, и ему не хотелось упускать эти деньги. Раздумывая о том, как же поступить, и глядя на волчат, беспомощно ползавших у наших ног, он почесывал себе затылок.

— Знаешь что? Давай возьмем у Гужи трех щенков, положим их в пещеру, а Гуже дадим волчат. Посмотрим, что из этого получится,— сказал он, не договаривая свою мысль до конца.

Так мы и сделали. Собака сначала оцетинилась, не хотела принимать волчат, но, когда они перемешались с ее щенками, легла около них. Трех щенков мы отнесли в пещеру.

Прошло пять-шесть дней. Гужа уже не делала различия между тремя волчатами и своими щенками. Она с одинаковым усердием облизывала тех и других и одинаково обо всех заботилась. За это время волчата подросли, и с их глаз начала сходиться пленка. Из-под нее проглянули мутные синеватые глазки. Волчата были сильнее и легко отпихивали от сосков Гужи находящихся ее детей.

Как-то в воскресенье мы с дедом Мирю пошли посмотреть, что стало в пещере с тремя щенками. Найти их, впрочем, мы почти не надеялись. Волчица поняла, что ее логово открыто, и ни в коем случае не оставила бы их там, если бы, разумеется, она приняла их за своих детей. И действительно, пещера была



пуста. Мы не знали о судьбе щенят и боялись, не съела ли их волчица.

Прошел месяц. Волчица не появлялась больше в этих местах, но старик упорно искал ее новое логово. И вот в один погожий апрельский денек, бродя наугад далеко от тех скал, он нашел ее новое убежище в укромной ложбине, заросшей густым орешником и кизилом. Произошло это совершенно неожиданно. Он услышал твяканье трех щенят, которые, отдавшись веселой и беззаботной игре, боролись друг с другом...

Старик с ружьем в руках обошел логово с подветренной стороны и притаился в ложбине, где проходила едва заметная тропа, набитая волчицей. Увлеченные игрой, щенята подбежали к нему совсем близко и, с удивлением рассматривая его, стали на него лаять. Тогда он взял одного из них на руки. Щенок отчаянно завизжал и заскулил. Старик нарочно то брал его за шкурку, то переворачивал вниз головой, то дергал за хвост. Внезапно на тропе показалась волчица. Она бежала к логову, встревоженная тем, что ее «детенышам» угрожает опасность. Наверное, она подумала, что на них напала лиса или дикая кошка. Выстрел уложил ее на месте...

В тот же вечер старик принес Гужиных щенят. Хотя они и

были еще маленькие, держались они как злые дикие зверьки, рычали и скалили зубы. Гужа отказалась их принять, как мы ни пытались подменить ими волчат. Она рычала, готовая их придушить, сбита с толку их волчьим запахом.

Пастух Танчо не знал, что с ними делать. Ему хотелось оставить их в качестве сторожей, но он боялся, что в один прекрасный день они могут перекинуться на сторону волков. Он внушил себе это, и его никак не удавалось разубедить. Наконец он отдал их в деревню. А волчат старик вместе с их убитой матерью отнес в город, чтобы получить вознаграждение...

Так три щенка, усыновленные волчицей, помогли деду Мирю найти ее логово и застрелить ее. И до сих пор я не могу решить, что бы с ними стало, если бы мы оставили их среди волков. Быть может, в конце концов волки бы их разорвали? Трудно предположить, что они могли бы совсем одичать...

ПОЛУДЕННЫЕ ЧАСЫ

В апреле к нам из Африки прилетает одна золотая птичка, не больше дрозда. Ранними росистыми утрами она летит не слишком высоко и золотым слитком падает в ветви какой-нибудь акации или шелковицы. Вскоре оттуда слышится посвистыванье, словно какой-то флейтист наигрывает красивую музыкальную фразу. Если вы умеете свистеть подобным образом, вы можете заставить птичку перелететь поближе. В таком случае у вас завязывается длинный и совершенно непонятный разговор:

— Фиху-фиху? — свистите вы.

«Фиу-лию?» — спрашивает птичка.

— Фифюху! — отвечаете вы, и разговор продолжается, все такой же непонятный.

Так вы и пересвистываетесь до тех пор, пока золотая птичка не поймет, что она обманута, или до тех пор, пока, охваченная дружескими чувствами и любопытством, она не пожелает увидеть своего неизвестного приятеля. Тогда, часто махая крылышками, она взлетит и опустится над вашей головой на ветку того дерева, под которым вы стоите.

Вы смотрите снизу на ее золотистое брюшко, на черный поясик на крыльях и восхищаетесь ее экзотической красотой.

Головка у нее продолговатая и довольно крупная, клюв сильный и заостренный, взгляд живой и беспокойный. Она смотрит по сторонам, удивленная, что нигде не видит незнакомого товарища, и, вдруг заметив вас под деревом, взмахивает крылышками и улетает...

Это самец иволги, без пения которого майские утра потеряли бы часть своей пьянящей свежести. Иволга прилетает с африканского юга, где среди пальм и бананов, на знойном солнце, проводит осень и зиму. И ее появление в разгар весны в наших родных лесах словно вносит в майские дни какое-то золотое сияние, что-то такое, что никогда не забывается.

В это время самка иволги вьет искусное гнездо. Она сплетает его, прицепив к горизонтальной ветке, недалеко от верхушки вяза, из тонких полосок бересты, травинки и веточек. Неудивительно, если в гнезде окажется и несколько лоскутков, взятых безвозмездно в каком-нибудь дворе. Ветер покачивает эту корзиночку, подвешенную к ветке подобно люльке; в ней сидит на белых яйцах иволга-самка, а ее друг поет вблизи, в зеленом свете густой листвы, с раннего утра до позднего вечера. Иволга-самка петь не умеет, она только кричит пронзительно, как курица, которую ощипывают. И оперение у нее не такое золотистое и блестящее, а зеленовато-желтое.

С этими птицами я познакомился еще в детстве, когда бродил по садам и шелковичным рощицам со своим дробовиком. И так хорошо усвоил их непонятный язык, что легко мог их приманивать. Я кричал не хуже самок, подражая их тревожным возгласам, свистел, как самцы, и подзывал к себе молодых, еще неопытных певцов, в чьих песенках звучало детское простодушие и неспособность последовательно и точно передать все богатые оттенками переливы. Они напоминали мне детей, которые еще не умеют произносить «р», или первоклашек, которые с трудом выговаривают длинные и непонятные слова, всегда проглатывая какой-нибудь слог. Их я обманывал успешнее всего...

Тогда я умел свистеть и кричать, как иволга, а теперь уже не умею. Чем больше я их узнавал, тем больше убеждался, что это строгие птицы и что к людям они относятся без особого доверия. Но зато какие они храбрые!

Однажды майским днем, около полудня, мы с дедом Мирю стояли в густой тени у реки, в молодой буковой рощице. Недалеко от нас, в листве колючего кустарника, пряталось гнездо

горихвостки. Самка сидела в своем маленьком гнезде, а самец пел, усевшись на верхушке соседнего дерева: «Уит-уит-уит!» Где-то в лесу куковала кукушка, река плескалась у берегов, а наши корзинки, полные усачей, висели у нас над головой. Мы прекратили ужение, потому что в эти полуденные часы рыба уже не клевала, и, спрятавшись в славной прохладной тени рощицы, разговаривали о том о сем.

Вдруг над нашими головами стрелой пронеслась серая птица величиной с голубя. Она кинулась к гнезду и пролетела над ним. Мы подумали, что это ястреб. Послышался испуганный писк. Самец вспорхнул с ветки, но самка осталась в гнезде. Видно, она сидела на яйцах и не могла улететь, не выдав гнезда.

Однако незнакомая птица вернулась и с угрожающим шипением и квохтаньем налетела на самочку. Горихвостка быстро и часто защебетала: «Тек! тек! тек! уйт! уйт!», но все-таки не выдержала и слетела с гнезда. Налетчиком оказалась наша старая знакомая — кукушка. Прогнав горихвостку, кукушка на несколько секунд метнулась в лес и снова прилетела. В разинутом клюве она осторожно держала маленькое яйцо, которое она тотчас подложила в гнездо к другим яйцам.

Пристроив яйцо, она села на ветку неподалеку, словно хотела посмотреть, как оно будет принято.

За это время горихвостки подняли тревогу. На их испуганный писк раньше всех откликнулся дрозд, потом закричала сойка и, наконец, в рощу прилетела иволга. Она позвала еще двух иволг, и вскоре вся роща звенела птичьими голосами.

Кукушка забилась в глубь ветвей, где ее трудно было заметить. Но горихвостки обнаружили ее, и иволги на нее напали.

Кукушка попыталась испугать их таким же шипением, каким она испугала горихвосток: она то растопыривала свои ястребиные крылья и разевала большой желтый клюв, то веером раскидывала длинный хвост, испещренный серыми, ястребиной окраски, пятнышками. Но иволги не пугались. Они нападали на нее с такой энергией и бесстрашием, что кукушка, сопровождаемая их криками, обратилась в бегство.

Прогнав кукушку в большой лес за рекой, птицы одна за другой вернулись в рощу. Снова воцарилась полуденная тишина. Только насекомые отмеряли своим жужжанием ленивые,

сладостные часы. Горихвостки успокоились. Самка поспешила снова сесть в гнездо, не заметив чужого яйца, которое она отныне будет высиживать как свое. Самец снова занял свое место на верхушке дерева.

— Кукушка свое дело сделала, — сказал дед Мирю. — Горихвостка не умеет считать, как мы, люди. Да если б и умела, все равно ей не узнать, какое яйцо ее, а какое — чужое. Кукушечье яйцо точно такое, как остальные.

— А откуда она его принесла? — спросил я.

— С земли... Она снесла его прямо на землю, в листья, где-нибудь неподалеку. А гнездо горихвостки она заранее разведала. Через две недели придем сюда, посмотрим на кукушонка.

Мы часто приходили на этот берег. Рыба искала места для метания икры, и наша горная речка в это время года обещала хорошие уловы. Корзинки обычно наполнялись еще до полудня, и у нас оставалось много времени для всяких других дел: мы ходили в лес за грибами или просто наблюдали за тем, что творится в лесу. Несколько раз я видел, как иволги преследуют ястреба. Они гнались за ним по пять-шесть птиц сразу, смело на него нападали, забирались ему под крылья, клевали и при этом так искусно увертывались от его клюва, что хищник, спасаясь от храбрых птичек, спешил улететь как можно дальше.

О кукушкином яйце я почти забыл, но старик напомнил мне о нем, и недели через две мы пошли посмотреть на знакомое гнездо. Птенцы уже вылупились. Рядом с тремя голыми, еще слепыми горихвосточками, беспомощно разевавшими голодные желтые клювы, в маленьком гнезде сидел и кукушонок, который был уже в два раза крупнее своих сводных братьев. Он непрерывно верещал: «Цирк! цирк! цирк!» — и, занимая половину гнезда, безжалостно теснил и прижимал к краям трех голышей. Внизу под кустом муравьи уже облепили труп четвертого братца, выброшенного кукушонком из гнезда.

— Через неделю он останется в гнезде один, — сказал дед Мирю. — Видишь, как он встает на ноги. Вот посадит себе на спину одного из голышей, приподымет и сбросит его вниз. А к тому ж горихвосткам все равно всех не прокормить. Кукушонок один ест за пятерых. Пойдем спрячемся, и ты посмотришь, как он лопает, — добавил он.

Я хотел вытащить кукушонка из гнезда, чтобы спасти маленьких горихвосток, но старик мне не позволил.

— Кукушка куда полезнее, чем горихвостка. Она кормится волосатыми гусеницами, от которых весь лес чернеет как от чумы. Ни одна другая птица их не ест — только кукушка да иволга. Но иволга ест их неохотно, они обдирают ей желудок. А для кукушки это главный корм, — закончил он и отвел меня от гнезда.

Мы спрятались в кустах и оттуда наблюдали, как обе горихвостки, отец и мать, по очереди подлетали к гнезду с гусеницами в клювах. Почувствовав их приближение, кукушонок так жадно разевал свой широкий безобразный рот и так настойчиво пищал, что родители не знали, кому ж отдать принесенную пищу, и чаще всего вкладывали ее в рот своего нахлебника.

— Когда этот ненасытный разбойник подрастет и оперится, он станет ровно в пять раз больше своих «родителей». Увидишь тогда, как смешно будут выглядеть горихвостки. Они все так же будут его кормить, все так же будут совать ему в рот гусениц, а он будет только подергивать крылышками да смотреть, не несут ли еще. Потом он и летать начнет, но от тунеядства своего все равно не откажется. До последней возможности будет пользоваться глупостью горихвосток. А те так и будут кормить своего великана, пока в один прекрасный день он не закукует и не исчезнет в лесу, — рассказывал мне старик, обстригая острым ножом перо, из которого хотел сделать новый поплавок для удочки.

Чудовищно несправедливым казалось мне то, что рассказал старик и что я видел своими глазами. Мне было жалко милых, старательных горихвосток, их собственных птенцов, которым наверняка предстояло погибнуть. Но когда позже я увидел, как на лес напали гусеницы и как он пожух, а местами оголился и почернел, я оценил эту жертву. Стало мне понятно и то ожесточение, с каким мелкие птицы преследовали кукушку. Они, конечно, знали, какие несчастья она им приносит, но их родительские инстинкты оказывались сильнее всех прочих чувств...

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ

Железнодорожная станция была в трех километрах от нашего городка. В свое время, когда прокладывали линию железной дороги, городские власти решили, что, если станция будет

у самого города, поезда будут тревожить сон горожан, и попросили, чтоб ее провели подальше. К этой просьбе тогдашних богачей и отцов города присоединились извозчики и носильщики, чьи интересы вполне совпадали в данном случае с интересами их классовых врагов. Таким образом станция и оказалась в стороне от города, и соединяло их разбитое шоссе, обсаженное жалкими акациями.

За станцией простиралась топкая равнина с лугами, с маленьким болотом посередине, куда мы с дедом Мирю ходили стрелять диких уток. По лугам расхаживало множество аистов, которые украшали своими громадными гнездами трубы и крыши города.

Однажды в конце августа, когда все аисты улетели на юг, на этих лугах остался один старый аист. Он начал все чаще наведываться на станцию. Выглядел он довольно безобразно — с пожелтевшими перьями, грязным хвостом, большим, каким-то увядшим желто-красным клювом. Наверное, у него не было сил улететь вместе со своими товарищами и как-то случайно удалось избежать строгого осмотра, который устраивают друг другу аисты, прежде чем пуститься в далекий путь, в Африку.

Стрелочник дядя Михал поймал его, запер в сарай, где хранился старый насос, и стал кормить. Для этого он часто приходил в город и выпрашивал у мясников легкие — аист очень любил эту еду.

После недели тюремного заключения стрелочник выпустил аиста на свободу, но птица не ушла со станции и, уж конечно, не собиралась покидать своего благодетеля. Видно, аист провел большую часть своей жизни на крышах домов и привык к людям.

Когда дядя Михал выпустил его, он погулял по перрону, потом ушел в луга, а к вечеру вернулся в сарай, чтобы переночевать в тепле. Постепенно он привык и к поездкам, которые раньше пугали его своим грохотом. Пассажиры кидали ему куски баранок и булок, хлеб и всякие лакомства. Скоро он стал с нетерпением поджидать каждый пассажирский поезд. В луга, где к тому же кузнечиков становилось все меньше, он уже больше не ходил. Очень довольный этим, дядя Михал, большой шутник, однажды выкрасил ему голову красной краской.

— Трачко совсем своим парнем стал, тоже вроде меня на железной дороге служит. Давайте мы его хоть в начальники

станции произведем. Все равно он все поезда встречает и провожает,— сказал стрелочник, выкрасив аисту голову.

Так Трачко, как называли его до тех пор, приобрел новое звание. Покачивая крашеной головой, он важно расхаживал по перрону, еще важнее стоял на одной ноге, и служащие изощрялись в веселых шутках по его адресу.

— Данчо, как бы у тебя этот «начальник» хлеб не отбил,— говорил старый телеграфист дежурному по станции, молодому человеку, когда тот с диском под мышкой выходил встречать поезд.

— Он мой помощник,— смеялся дежурный,— только вот диска нету.

— Зачем ему диск? Вон у него — красная фуражка и красный клюв!

«Начальник» действительно начал понимать, что означают звонки и когда приходят поезда. Почувствовав их приближение по гулу рельсов, аист оживлялся и тут же занимал свое место на перроне. Это до такой степени удивляло персонал станции, что аисту каждый день приписывали всё новые и новые необыкновенные качества. Он приобрел известность среди машинистов и кочегаров, которые разнесли его славу по ближним и дальним станциям. Только начальник станции не участвовал в этих шутках, которые в какой-то степени задевали его служебное достоинство, но так как он был человек умный и не мелочный, то притворялся, что просто ничего не замечает.

Так аист провел всю осень и зиму в сарайчике для старого насоса и очень сдружился с дядей Михалом, который продолжал его кормить. Когда наступало время получать паек, «начальник», запертый в сарайчике из-за сильного мороза или обильного снегопада, начинал щелкать клювом, точно бил в гонг, и стрелочник нес ему пищу.

Наступила весна. В тот год она пришла очень рано. В марте повсюду уже сошел снег. Теплое солнце освещало пробудившиеся поля, болото блестело среди голых серо-зеленых лугов. Соблазненный весенними просторами, охваченный воспоминаниями, аист однажды полетел на луга. Там он погулял, поклевал что-то, погрелся на солнышке и к вечеру снова вернулся на станцию. На следующий день он гулял уже дольше, словно на лугу ему нравилось все больше, хотя он не находил там почти никакой пищи. Вместе с тем в «начальнике» можно

было заметить какую-то тревожную перемену. Он приуныл, точно был чем-то озабочен, и уже не так усердно нес свою службу — встречал поезда. Пища не интересовала его почти совсем, словно ему надоели все эти кусочки хлеба и булок, которые бросали ему пассажиры. Он предпочитал равнодушно стоять у станции, наклонив голову и свесив длинный клюв, ложившийся ему на грудь, как орден.

— Что-то не по себе ему. Должно быть, голова разболелась от весеннего солнца, — шутили служащие.

— Это от старости, ребята. Песок из него сыплется, в этом все дело. Был бы молодой, торчал бы сейчас на каком-нибудь минарете в Египте, — отвечал дядя Михал.

— Загрустил из-за чего-то, бедняга. И у него есть душа, — с чувством заключал старый телеграфист, жмурясь на солнце.

«Начальник» прикрывал то один, то другой глаз и часто поглядывал на теплое синее небо, словно чего-то оттуда ждал.

Последние дни аист в послеполуденные часы стал забираться на крышу станции. Пристроившись около самой трубы, он стоял там, повернувшись на юг, в смиренной и глубоко озабоченной позе.

Служащие догадывались, что «начальник» ждет возвращения своих сородичей. Они обсуждали его поведение и самыми разнообразными способами толковали его беспокойство. Дядя Михал утверждал, что аист боится, как бы ему в этом году не остаться без подруги, и объяснял это так:

— Его старуха, наверно, пободрей, чем он, вот и улетела без него в теплые края. А там она себе другого нашла, и наш «начальник» останется на бобах. Потому он и загрустил.

— Нет, не потому, — возражал телеграфист, который рассказывал об аистах самые удивительные истории и был склонен приписывать им величайшие добродетели. — Все дело в том, что он остался здесь. Это, по-ихнему, смертный грех. Аисты не просят ему этого, убьют. Они, как древние спартанцы, признают только здоровье. Здоровый дух — в здоровом теле, — заключал он безапелляционно и, чтобы показать, что никаких возражений он и слушать не будет, сплевывал и прекращал спор.

Однажды в тихое весеннее утро, когда горы, из-за которых вставало солнце, были окутаны сиреневым туманом, «началь-



ник» был как-то особенно беспокоен. Он раньше обычного занял свое место на крыше и на этот раз стоял, задрав голову. К полудню над лугами пролетел большой караван диких гусей, на короткое время огласив окрестности своим звонким гогогом, и сел где-то в полях. А за гусями с юга потянулись первые стаи аистов. Белые и чистые, аисты сверкнули в голубом весеннем небе и, красиво распластав свои широкие крылья, спустились на луг.

Заметив их, «начальник» стал тревожно ходить по крыше, время от времени уныло щелкая клювом, словно разговаривая сам с собой. Ему явно хотелось полететь к своим, но он не решался. Несколько раз он уже взмахивал крыльями, но в последний момент передумывал и продолжал переступать с ноги на ногу на крыше двухэтажного здания.

Часам к трем по рельсам и перрону пронеслась крестообразная тень одного из гостей. Он увидел «начальника», сделал круг над станцией и опустился на трубу. Оба аиста защелкали клювами. Это продолжалось минут десять. Гость щелкал бойко и энергично, «начальник» — изредка и все так же уныло,

Потом аист улетел на луг и вернулся оттуда с десятком своих товарищей. Они закружили над крышей, на которой неподвижно, опустив свою выкрашенную голову, точно подсудимый в ожидании сурового приговора, стоял «начальник».

— Сейчас они ему покажут, — сказал телеграфист. — Это суд!

На перроне и на заднем дворе собрались почти все слушающие, несколько носильщиков и пассажиры, ждавшие дневного поезда. Дядя Михал, встревоженный словами телеграфиста, но все еще не совсем ему веря, посматривал на крышу и собирал камни, чтобы прогнать круживших над станцией аистов.

Вдруг один из них резко спикировал и клюнул «начальника». Стрелочник заулюлюкал и стал бросать камни, но аисты не обратили на него ни малейшего внимания. Второй аист клюнул «начальника» так сильно, что тот, покачнувшись и растопырив крылья, едва удержался на ногах. Тогда с риском повредить крышу дядя Михал швырнул вверх здоровенный кусок черепицы и попал в своего приятеля. «Начальник» от удара подпрыгнул, скользнул вниз по крыше и, увидев перед собой пропасть, раскинул свои черные крылья и взмахнул ими. Аисты тут же слетелись к нему и напали на него со всех сторон.

За насыпью «начальник» неожиданно упал, как подстреленный.

Когда дядя Михал и кое-кто из зрителей подбежали к нему, он был мертв. Затылок его был пробит тяжелым и острым клювом одного из палачей.

Стрелочник, расстроившись, вовсе поносил аистов. Все удивлялись, только старый телеграфист был доволен тем, что правильно предсказал ход событий.

— Говорил я тебе, что они его убьют, — разглагольствовал он громко, чтобы все его слышали. — Они не признают стариков, не признают больных и хилых. Наш дружок осенью как-то улизнул от расправы, но зато теперь поплатился... Я говорю — спартанцы!

— Ну и заткнись со своими спартанцами! — прорычал дядя Михал. — Плевать я хотел на их законы, раз они такое устраивают! Я с ними порываю дипломатические отношения. Раньше я их уважал, а теперь я их ненавижу, — заявил он, бросая тело «начальника», и пошел к лесу.

Мы, школьники, взяли убитого аиста и отнесли его нашему учителю зоологии, который сделал из него чучело. И до сих пор «начальник» красуется в желтом шкафу, в школьном коридоре. Проходя мимо него, я всегда вспоминал об этом случае и всегда жалел старого аиста, который не пытался уйти от суровой кары по законам своего племени.

ГУЖУК

Каждый год Волга приносила пятерых-шестерых щенят, которых дед Мирю продавал. Охотники из города и окрестных сел охотно покупали Волгиных щенят, поскольку мать славилась как отличная гончая. Старик немало на этом зарабатывал и потому очень следил за тем, чтобы Волга давала чистокровное потомство.

В какой-то год она принесла семерых. Это было в декабре, как раз ударили морозы, и дед Мирю поместил ее в хлев, к ослу.

Все щенята были бархатно-черные, с гладкими спинками, со светло-желтыми пятнами под глазами, с рыжими мордами и грудкой. У некоторых были белые лапки и тонкие белые отметины на лбу. Только один, самый маленький, родившийся последним, составлял исключение из общего окраса, присущего этой породе гончих. Он был коротконогий, серо-черный, шерсть у него была не такая гладкая, как у других, а голова наполовину белая. Когда щенкам исполнилось по месяцу и они стали играть во дворе, осел наступил последышу на хвост. Хвост наполовину отсох, и дед Мирю ножницами его отрезал. Так кутенок и остался с коротким, неказистым хвостом, и старик окрестил его «Гужук», что по-турецки значит «бесхвостый».

Если бы щенки были Зымкины, то есть легавые, отсутствие хвоста не имело бы значения, наоборот — считалось бы даже достоинством, потому что многие охотники специально обрубают им хвосты. Но Гужук был гончей, и ни один охотник не согласился бы взять гончую без хвоста. К тому же и наполовину белая голова, портившая собаку, никому не нравилась, и, когда дед Мирю распродал весь помет, Гужук остался — никто не захотел его купить.

Поскольку он был самым маленьким и слабым, им помыкали и его братья и хозяин. И вырос он робкий, всегда готовый об-

ратиться в бегство, всегда печальный и как будто в чем-то виноватый. Черные его глаза, чуть навывкате, глядели как-то жалобно, но умно. Никто не ласкал его, и, когда я начал проявлять к нему расположение, носить ему из дому разные лакомства и гладить его, Гужук скулил от удовольствия, переворачивался на спину и на радостях пускал под себя лужицы. При мне он позволял себе некоторые смелые поступки — например, лаял на кошку, которая грелась на солнце, растянувшись у порога, или тывкал прямо в морду ослу. Постоянным его занятием было таскать по двору какую-то тряпку и разодранную заячью шкурку. Мать перестала о нем заботиться и рычала, когда он пытался поиграть с ней, а отец, Мурат, явно его презирал.

— И как это он уродился с такой головой, словно его известкой обмазали! — досадовал дед Мирю. — Возьму да подарю его кому-нибудь, отвяжусь от него. Хотя собачонка-то вроде умная.

Он спешил избавиться от Гужука, потому что не мог кормить лишнюю собаку. И без того он держал трех.

Однажды к деду Мирю зашел пастух Танчо, увидел Гужука и попросил отдать ему собаку. Танчо собирался заняться охотой.

— Возьми, от всего сердца дарю. Приставь его к стаду, он сам научится гонять.

Прошла весна. Мы забыли о Гужуке. Танчо редко бывал в городе и не заходил к старику. Да и дед Мирю был занят — в это время года он собирал целебные травы. Как-то, вернувшись из леса, он рассказал мне, что видел Гужука. Гужук гнал зайца, и гнал его очень настойчиво.

Через неделю сам хозяин его, Танчо, пришел похвалиться собакой.

— Гужук, говоришь? Один турок дает мне за него двух коз, а я не хочу, не отдам его. Целыми днями гоняет зайцев по лесу. Как колокольчик заливается. Выправлю себе в этом году билет и ружье уже присмотрел, — хвастался пастух.

Прошло и лето. Наступила осень, открылась охота на косуль, и мой брат, который был намного старше меня и за год до этого кончил лесоводческий факультет, приехал домой погостить. Он привез новую двустволку, купленную в столице. Охотничьей страстью он заразился в Родобах, куда был назна-

чен лесничим. Узнав, что группа его знакомых и друзей отправляется в горы на косуль, он захотел тоже к ним присоединиться, но у него не было собаки. Я вспомнил о Гужуке и попросил пастуха одолжить гончую брату. На другой день Танчо привел собаку на веревке к нам домой.

Гужуку было уже одиннадцать месяцев, но он был все такой же мелкий и страшно тощий. Танчо кормил его одной мамалыгой, а собака целыми днями гоняла дичь и теряла много сил. Увидев его, брат засмеялся:

— С такой собакой я не могу идти. Не видишь разве — одна кожа да кости. Верни-ка его лучше своему пастуху, — сказал он.

Но я уговорил брата взять Гужука и обещал, что сам буду заботиться о нем и сам его поведу.

Я накормил Гужука всем, что нашлось в доме. Он наелся в свое удовольствие, так что живот у него раздулся, как барабан, потом свернулся калачиком и заснул.

На следующий день мы отправились в горы.

Охота на косуль была настоящим праздником для охотников нашего городка. Человек десять, ремесленники и чиновники, отправлялись пешком в горы, ведя с собой двух-трех ослов, нагруженных съестными припасами и увешанных оплетенными бутылками с вином. Компания выходила на шоссе, и вслед ей неслись пожелания и шутки. Впереди трусили подгоняемые тычками в зад ослы, дробно постукивая копытами и помахивая своими длинными ушами. За ними шагали охотники в старых, ношенных-переносных брюках, в обтрепанных куртках, кто в кепке, кто в шляпе, кто в меховой шапке. С ружьями за плечом, опоясанные патронташами, обвешанные рогами, ягдташами, сумками, они болтали не умолкая, подчиняясь общему возбуждению, подшучивали друг над другом и громко смеялись.

Незаметно убегают километры, город остается далеко позади и уже не виден. Шоссе идет мимо хуторов с чисто выбеленными домиками, мимо дубовых рощ, в которых ребятишки пасут волов и кричат сойки, мимо одинокого постоялого двора, перед которым стоит телега, груженная хворостом. Лошади дремлют, свесив головы, ждут хозяина, а тот, не выпуская из рук кнута и попивая мутное, точно сусло, вино, только что привезенное из Фракии, ведет бесконечную беседу со стариком хозяином, у которого усы уже давно седые, но глаза еще блестя-

как у кота. Постепенно все выше и стройней становится лес по обе стороны шоссе, все свежее луга, избегающие по крутым склонам оврагов, все величественнее пейзаж вокруг. Это еще не горы — лишь синеватый их хребет вырисовывается на мягком октябрьском небе, но ты уже улавливаешь их дыхание, и грудь ширится, и ты глубже вдыхаешь чистый горный воздух. Осенняя засуха не властна над горами. Вон там, где бежит прозрачный ручей, еще растет зеленая, яркая трава, и лес еще хранит летнюю свежесть. Далеко разносится топор горца. Он обрубаёт дубовые ветки, торопясь запастись лиственным кормом. Телега его, распряженная, стоит на полянке, рядом пасутся, помахивая хвостами, два низкорослых вола. Куда ни обернешься, налево или направо, смотришь и не можешь насмотреться на широкую панораму лесов, ложбин, холмов и пригорков, взгорий и таких вершин, которые напоминают крепости, оставшиеся с далеких времен. Все это освещено косыми лучами солнца, овеено прохладой, напоено покоем. Постепенно шоссе взбирается на высокое плато, и оттуда вдруг открывается весь Балканский хребет, окутанный тенью, словно синеватым сиянием. Могучая грудь его смята исполинской рукой, рассечена ущельями, прорезана поперечными складками, которые сползают вниз, как огромные гусеницы. Хочется снять шапку и подкинуть ее в восторге высоко вверх. Для какого болгарина Балканы — не живое существо?

Я совсем забыл про Гужука, который бежал за мной, поджав хвост и опасливо поглядывая на других собак. Он никогда еще не гонял дичь вместе с другими собаками и держался диковато и робко, словно сознавая, как он слаб и неказист. Некоторые охотники смеялись надо мной, что я взял с собой такую тощую собачонку, и, поглядывая не без гордости на своих крупных гончих, пророчили, что Гужук так и будет бежать, как пришитый, за моей сумкой.

— Лучше всего привязать его к хвосту моего Арапа, чтоб Арап его за собой тащил, — говорил один из путников, парень с длинными русыми усами и румяным, как у девушки, лицом. — На него и волки не позарятся, до того он тощ.

— Ему только жестянку на хвост привязывать, народ пугать, — добавлял другой, — да и то не годится, хвост купцы!

Я молча краснел, глядя, как Гужук смешно перебирает своими короткими, кривоватыми лапами, и, чем больше на-

смехались над ним охотники, тем большую я испытывал к нему нежность.

Вечером мы подошли к подножию гор и расположились лагерем под громадным дубом, широко раскинувшим ветви, точно огромный зонтик. Рядом бил прекрасный источник, в лесу было полно сухих дров. Мы развели костры, на которых можно было бы зажарить вола, поужинали и легли на мешки, набитые папоротником.

Над горами раздавался рев потоков и шелест легкого ветра, над головой мерцали маленькие, затерявшиеся между верхушками деревьев звезды. Заунывно перекликались совы, точно пастухи по ущельям. В горах было тепло, как всегда в октябре, наши костры бросали дрожащие блики на белые стволы старых буков.

К полуночи из-за хребта выплыл месяц. Горы словно вздохнули, лес зашумел сильнее. Желто-зеленая вуаль окутала вершины.

Я лежал на своем мешке и не мог заснуть. Воображение рисовало мне то горного козла, который бродит одиноко в черной, страшной тени леса, то стадо оленей, что пасется где-то недалеко от вершины. Могучий облик Балкан поразил меня. Среди вековых буков человеческая фигура казалась маленькой и ничтожной, а наши собаки напоминали насекомых. В ушах у меня все еще отдавалось эхо наших голосов.

Гужук лежал около меня. Когда я протягивал руку и гладил его, он бил хвостом по листе.

Не помню, заснул ли я наконец или только забылся дремотой. Меня разбудили охотники, которые уже вставали и шли умываться к источнику. На кострах жарились шашлыки, из сумок извлекались караваи хлеба и всякая снедь. До рассвета еще было далеко, и все так же ревели горные ручьи, словно само время проносилось мимо нас потоком. Собаки, растревоженные запахом жареного мяса, лаяли, и глаза их алчно блестели в свете костров. Вокруг плясали человеческие тени.

— Вставай! — сказал мне брат. — Поешь хорошенько, неизвестно, когда будем обедать. Через полчаса выходим, и там, где тебе скажут, ты спустишь двух собак.

Скоро наш лагерь опустел. Над залитыми кострами подымался пар. Охотники пошли в затылок друг другу лесной дорожкой, вдоль которой пенились и сверкали воды какой-то речушки. Мы шли по страшным, заколдованным местам, словно

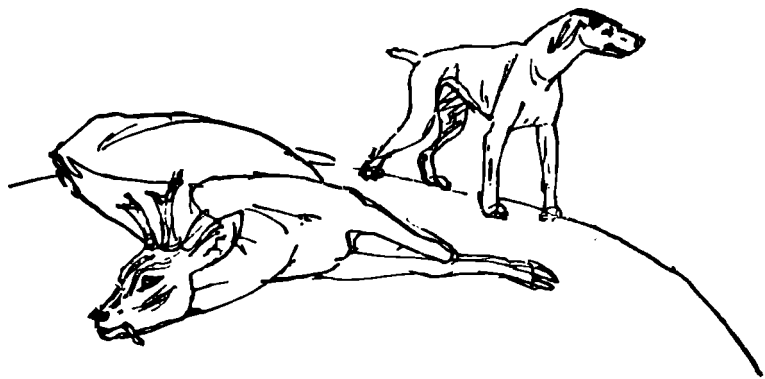
в каком-то ином мире. Кое-где пробивался лунный луч и освещал поваленный ствол, весь увитый ежевикой, потом дорожка поворачивала, и казалось, что вот сейчас перед тобой встанет сказочный замок, в котором все спят глубоким сном, а то вдруг появлялось какое-то странное дерево, раскинувшее свои корявые ветви, точно узловатые руки, и чудилось, что это не дерево, а леший. Между тем начинало светать, небо опускалось ниже, становилось голубым и прозрачным, а звезды мерцали и, прежде чем погаснуть совсем, разгорались все ярче.

— В этой ложбине ты спустишь своего Гужука и вот эту собаку, — сказал кто-то, вкладывая мне в руку холодную цепочку. Передо мной оказалась черная сука с длинным туловищем и щетинистой мордой. — Как услышишь рог, так и спускай. Ни в коем случае не раньше! И будешь стоять здесь, пока я тебя не сниму. Ты ведь не боишься? — добавил охотник шепотом.

Колонна прошла мимо меня, я остался один. Вслушиваясь в удаляющиеся шаги, я присел на пенек, влажный от росы. Свет медленно проникал в темный лес. Забелели стволы буков, переплетения ветвей, виден был уже толстый ковер палой листвы. Я находился на дне громадного оврага; один из его склонов вздымался крутой стеной. По склону росли прямые, высокие деревья, зеленели заросли ежевики, лежали старые, трухлявые стволы. Поползень, проснувшись, наполнил воздух ущелья своим быстрым, нетерпеливым щебетом. Высоко в небе показалось облачко.

Сука рвалась с поводка и скулила, Гужук сидел спокойно. Я боялся, что он испугается большого леса и не захочет отдаляться от меня, как предсказывал тот охотник, но пока он не проявлял никаких признаков беспокойства. Я гладил и подбадривал его — мне хотелось, чтобы он отличился. Рассвело; где-то высоко раздался короткий сигнал рога. Я спустил собак, они кинулись вперед, и через минуту вокруг установилась напряженная тишина. Только поползень кричал, словно кто-то ходил по лесу и под ногами у него трещали сучья.

Я чувствовал, как бьется мое сердце, и ждал, когда наконец собачий лай прорежет тишину утра. Позади меня, словно вырвавшись из самых недр Балкан, пронесся высокий звук, точно кто-то ударил молотом по звонкой наковальне. Звон рассыпался на отдельные, исполненные страсти, страдания и торжества переливы и постепенно перешел в басовитый лай.



Словно сами ущелья выпускали глубокие гортанные вздохи. В то же время с крутого ската оврага донесся отчаянный лай Гужука. Тут же вступила и длинная сука. Ее резкий металлический лай заглушил голос Гужука.

Увлекая за собой целый вал палой листвы и словно плывя в нем, по крутому скату с оглушительным треском съехала крупная рыжеватая косуля, молниеносно пересекла дно оврага и остановилась шагах в десяти от меня. Бока ее ходили ходуном, уши тревожно двигались, дрожь проходила по всему телу. Прислушавшись, она огромным прыжком исчезла в лесу. За ней стрелой мчался Гужук, а за ним сука. Лай оглушил меня. Я стал ходить взад-вперед, мне хотелось кричать во все горло, я был взбудоражен этой дикой, бьющей по нервам музыкой...

Все произошло так быстро, что я не успел опомниться. Собаки промчались вихрем, их голоса слышались уже издалека, с той стороны оврага. Я едва дышал от восторга, считал секунды и слушал удаляющийся лай. Наконец со стороны хребта грянуло два выстрела, потом еще два, и вместе с грохотом, который эхо разогнало по всем складкам гор, заглох, подобно вздоху, и лай Гужука.

Снова наступила тишина, и снова тревожно закричал поползень. Солнце осветило лес, поднялось высоко, стало припекать. Я устал ждать, терпение мое подходило к концу, но я не смел отойти от оврага, боясь потеряться. Прошел час или два, и сверху послышался рог. Между деревьями показался

тот самый охотник, который утром передал мне собаку. Он шел ко мне, по колени утопая в листве.

— Собачонка-то твоя выставила одну косулю прямо на твоего брата, — сказал он.

— И он убил?

— Нет, упустил: стрелял в нее, но промазал, — сказал охотник, садясь и вытирая пот с покрасневшего лица.

— А кто еще стрелял?

— Не знаю. Кто-то стрелял два раза и уложил косулю, потому что собаки замолчали.

Охотники перекликались над нами из своих засад. Мы пошли к лагерю, где должна была собраться к обеду вся компания, и, часто останавливаясь, поглядывали назад. Среди деревьев показались двое охотников. Они несли на палке убитую косулю. Гибкая, только что срубленная палка гнулась на их плечах, и косуля раскачивалась в такт шагов. Это была самка с прекрасной головой, с серебристо-серой шеей.

Подожел и мой брат, недовольный и хмурый.

— Гужук выгнал на меня косулю, но я дал маху, — сказал он огорченно. — Позови его. Почти все собаки уже вернулись. Позови, он знает твой голос.

Я звал долго, но Гужук все не шел. Пока мы обедали, я продолжал звать его и трубить в рог. Компания навьючила косулю на осла и двинулась к городу. Я все время отставал, чтобы еще и еще раз позвать Гужука, и не мог отделаться от предчувствия, что больше мне его не увидеть. В город мы пришли поздно вечером.

— Не беспокойся, вернется твой кутенок. Такой приметный не потеряется, — грубовато утешали меня охотники. — Кто позарится на пастушью собаку? Он нападет на наши следы и вернется к своему пастуху или будет сегодня ночью царапаться у ваших дверей...

В следующее воскресенье к нам домой пришел коренастый горец в домотканой одежде, в портянках; за плечо была закинута на палке сумка из козьей шерсти. Подойдя к брату, горец заговорил гортанно и напевно:

— Так что пришел я сказать вам про песика вашего, что с ним приключилось. Нашли мы его, песика вашего, третьего дня на Крутой поляне, у тропы, когда за дровами ходили. Собака-то как догнала косулю, так и осталась ее стережечь. Косуля, видать, была ранена. Собака ее стерегла, а вы за ней не при-

шли. А ночью-то набежала эта нечистая сила, волки, и сожрали косулю да и песика вашего задрали. Косулю до косточки обглодали, а у собаки печенку выгрызли... Видать, другое им не понравилось...

Так погиб маленький, некрасивый, даже уродливый с виду, но умный и милый Гужук. Как у многих скромных, невидных, незаметных людей, которых мы слишком часто не умеем оценить с первого взгляда, в груди у Гужука билось храброе и верное сердце.

ОЛЕНЬ С ПЕРЛАМУТРОВЫМИ РОГАМИ

В конце сентября в горах наступают тихие и теплые ночи, исполненные особой тревоги.

В такое время я поехал к брату в лесничество, где он жил постоянно.

Мне не спалось, хотя днем я немало прошел пешком, следуя за косулей, и вечером вернулся в сторожку лесничества голодный и без ног. В выбеленную комнату сквозь два больших сводчатых окна с двойными рамами и маленькими стеклами вливались снопы лунного света и, бросая на буковый пол и стену над кроватью сетчатую тень дерева, росшего под окном, обильно сыпали в комнату пятнышки желтизны. Стекла отсвечивали сине-зеленым, за ними стояла луна.

Утомленный духотой, я оделся и вышел на улицу.

Над лесами стлался свет луны, окутывая их прозрачно-грустной фатой. Кое-где белели стволы вековых буков, мягко отсвечивали их верхушки, в других местах лунные лучи пробивались в глубь леса и озаряли поляны. Мне казалось, что дует теплый ветер — из тех сухих ветров, что долетают к нам из африканских пустынь, — но ветра не было. Воздух застыл. Громко и часто ухали совы, пронзительно отзывался с крыши сторожки сирин, необыкновенно ярко горели звезды и светился горизонт.

Лошадь стояла во дворе, подняв голову, и не щипала траву, словно и она ощущала в воздухе что-то тревожное, а собака то и дело почесывалась и гремела цепью.

Такой гнетущей была эта ночь, словно где-то поблизости поглотил пожар...

Вдруг с противоположного бугра, покрытого густым лесом,



раздался хриплый рев: «Бе-бее! Бе-бе-бее!» — точно кто-то немой хотел выразить невыносимое свое страдание. Ревел олень-самец, оставшийся без самки.

Я взял палку, с которой бродил днем, и вошел в лес. Двигался я тихо, стараясь не наступить на гнилой сучок и не шуршать листвою. Так я вышел на полянку у подножия лесистого бугра. По нижнему ее краю густым черным кружевом вырисовывалась тень леса, но выше луна ярко освещала высокую траву. Несколько грибов, выросших на тропинке, белели, сбившись в кучку. Поперек тропы лежала ветка, и на ней блестела паутина.

Спрятавшись в тени деревьев и надвинув шапку так, чтобы луна не светила мне в лицо, я слушал рев оленя и даже слышал, как он роет землю. На его рев ответил другой, совсем недалеко от меня. Через несколько минут с нижнего края полянки раздался сильный хруст и треск.

Рев с бугра приближался. Рогач снизу отвечал могучим

басом. На опушке показалось несколько теней. Я различил длинные лошадиные морды самок, которых рогач гнал перед собой. Они остановились и с любопытством вытянули шеи, глядя на верхний край полянки, откуда доносились сейчас сердитые хрипы.

Вдруг там показался олень с блестящими рогами. Луна осветила его. Он был тонок и строен, с маленькой, гордо посаженной головой. Ноздри его раздувались, а глаза горели кроваво-красным огнем. Длинные рога, заостренные на концах, были точно сделаны из перламутра.

Он выступил вперед, величественный и надменный, громко фыркнул, и тотчас из леса вышел его соперник, намного крупнее его, с густой гривой на шее, с короткими, толстыми рогами.

Совы заушали еще громче, самки столпились в ожидании, лист сорвался с дерева и с шуршанием опустился на землю.

Олень с перламутровыми рогами неотразимо привлекал меня. Он казался мне необыкновенно красивым и стройным, словно отлитым из темной бронзы. Другой был несколько неуклюж, хотя короткие тяжелые рога, похожие на суковатые ветви, делали его более мощным и мужественным. Подогнув передние ноги и опустив головы, противники одновременно кинулись друг на друга. Рога их с треском столкнулись и мгновенно переплелись. Олень с перламутровыми рогами выдержал натиск своего более крупного противника. Он как будто собирался упасть на колени и, быстро извернувшись, попытался ударить своего врага в бок. Могучим движением шеи другой олень отбил удар. Рога их снова сплелись, перламутровые сабли прошли сквозь тяжелые отростки рогача. Он остерегался их, но, видно, они ранили его в шею, потому что он два раза застонал от боли. Пыхтение борцов утихло, с губ их капала пена, они почти задыхались, и слышно было, как трещат их сильные суставы.

Я вспомнил рассказы лесников об олене-убийце, которого они искали, чтобы пристрелить. Этот рогач проткнул своими острыми рогами двух оленей, чьи трупы были найдены в лесу три дня назад. И тут я вдруг понял, что красавец с перламутровыми рогами и есть тот убийца.

Я поднял палку и изо всех сил стукнул по ближайшему дереву. Самки бросились бежать, но олени продолжали борьбу.

Я отчаянно закричал и, размахивая палкой, двинулся на них. Они распепились, олень с короткими рогами оглянулся и, не увидев своего стада, пошел по его следам, а рогач-убийца выставил вперед одну ногу, наклонил голову и приготовился напасть на меня.

Дрожь ужаса прошла у меня по спине. Олень смотрел на меня красными, налитыми кровью глазами и выжидал в двух метрах от меня. Его блестящие рога были у самого моего лица. Я держал в руках палку, но не смел шевельнуться — что-то подсказывало мне, что он ждет малейшего моего движения, чтобы броситься на меня. Так мы смотрели друг на друга, вероятно, целую минуту. И вдруг олень презрительно зафырчал, повернулся ко мне спиной и двинулся по следам стада. Поляна опустела, будто ничего на ней и не произошло. Только разрытая копытами земля влажно блестела...

Испуганно оглядываясь, я почти бегом вернулся в сторожку, разбудил брата и рассказал ему, что мне пришлось пережить.

— Ты легко отделался, — сказал брат, сердясь на меня за мою ночную прогулку. — Когда олени начинают реветь, они становятся смелыми, как хищники. А этот злее всех. У него никогда не было стада, потому что самки бегут от него. Он убийца и осужден на постоянное одиночество. Это ожесточило его, и я удивляюсь, как он не проткнул тебя рогами. Ложись спать и не смей больше ходить в лес без моего разрешения!

На следующий день лесная охрана застрелила моего оленя недалеко от шоссе, где он напал на одного рогача. Я пошел посмотреть на него. При дневном свете он выглядел совсем иначе. Спина у него была вытерта, жилистая шея обросла буро-красной гривой. А рога, которые ночью показались мне такими красивыми, были побелевшие и истертые, без боковых отростков, уродливые, тонкие и голые. На всем его облике лежала печать вырождения и жестокости. Но лунная ночь придала его безобразию особую красоту и блеск.

С тех пор я часто вспоминал поговорку «День смеется над ночью» и, если видел что-нибудь ночью, не ждал, что оно окажется таким же при свете дня.

СОЛОВЕЙ НА ЗАВОДЕ

Я был еще гимназистом, когда дед Мирю совсем состарился, сгорбился и перестал ходить на охоту. Зымка, Волга и Мурат давно были похоронены на берегу оврага, скончалась и его старуха. К деду переехал на жительство его младший сын, слесарь, со своей семьей.

Перестав ходить на охоту, старик начал мастерить клетки для птиц. Он держал дома в клетках нескольких зябликов, одного черного дрозда и пять-шесть щеглов. Все они были отличными певцами, и я удивлялся умению старика заставлять их петь по своему желанию. Как он этого добивался, бог его знает, но птицы часами пели в бедном домишке, радуя его сердце.

— Есть у меня секрет,— смеялся дед Мирю, когда я просил его раскрыть мне тайну.— Мой сын Милуш его знает. И тебе скажу, да только зачем тебе? Ты будешь ученым человеком, тебе такие науки не нужны.

Когда он умер, меня не было в городе, и секрет его так и остался для меня секретом.

С тех пор прошло много времени, и вот два года назад я побывал на одном нашем заводе. Это было под Первое мая. В просторном, светлом и чистом цеху, в который свет лился сквозь стеклянную крышу, я с удивлением увидел в углу какие-то непонятные брезентовые колпаки. Они вовсе не гармонировали с праздничным убранством цеха, наоборот — скорее портили его. Я собирался спросить, зачем они нужны, но тут меня поразило нечто совершенно необъяснимое. Среди равномерно жужжания станков, поставленных в два ряда, среди смеха и разговоров рабочих, которые спешили закончить работу, чтобы подготовиться к празднику, в этом помещении, среди бетона и стали, во все горло пели соловей и зяблик. И пели так громко, так самозабвенно, точно состязались друг с другом.

Я подумал, что рабочие смастерили какие-нибудь механизмы и что эти механизмы спрятаны под брезентовыми колпаками. Но как удачно, как похоже, совсем как живые, пели эти механические птички! «Какой же искусник это сделал!» — подумал я и, разговаривая с парторгом, все не решался спросить его, что это, потому что чем больше я вслушивался, тем больше поражался: в птичьих песнях не было никакого однообразия. Если б это были механизмы, они ни в коем случае

не могли бы воспроизводить эти разнообразные рулады и уху никогда не улавливало бы тех полутонов и оттепков, на которые способны только живые артисты леса.

— Чудесную музыку вы соорудили,— сказал я парторгу, когда больше не мог сдерживать любопытство.— Молодцы! Поют как живые!

Парторг, высокий и смуглый, с черными, как угли, глазами, взглянул на меня иронически:

— А вы думаете, они не живые?

— Разумеется. Но должен признаться, что я потрясен совершенством этого механизма.

— Послушайте внимательней. Разве механизм может так петь? Это живые птицы.

— Ну, пусть так, согласен, пусть это не патефонные пластинки, записанные в лесу. Но объясните мне, как могут живые птицы петь здесь, среди шума станков, на заводе? — спросил я.

— То-то и оно, что поют. Как видите, и птицы готовы воспевать революцию и социализм. Поют по нашему заказу, ведь завтра Первое мая,— засмеялся парторг.

— Разве что так.

— Значит, вы все еще не верите, что они живые? Эй, Янко, позови дядю Милуша! — крикнул парторг рабочему, пробежавшему мимо.

Из соседнего цеха пришел пожилой рабочий с седой головой. Что-то показалось мне в нем знакомым, но я не мог вспомнить, где я его раньше видел.

— Вот товарищ не верит, что птицы живые, — сказал парторг. — Покажи ему, чтоб он поверил. Только б не сбить их песню.

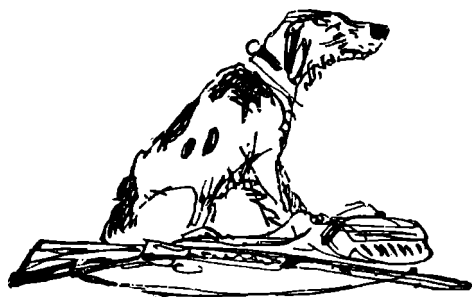
— Сейчас покажу, а их это не собьет,— ответил рабочий, приглядываясь ко мне.— А я вроде вас знаю. Вы не из города Т***? Я сын того старика, с которым вы бродили в детстве по лесам. Как видите, я вас помню,— сказал он, подавая мне руку.

Мы сердечно, как старые знакомые, поздоровались, и он повел меня в угол. Приоткрыв оба брезентовых колпака, он показал мне одну за другой обеих птичек.

Брезент был смочен. Сквозь него цедился точно такой же свет, какой бывает в лесу рано утром. Птичка под колпаком ничего не видела, но чувствовала теплую влагу, так как брез-

зент нагревался от цехового тепла. Так у нее возникала иллюзия, будто наступает утро, и она пела без передышки, встречая зарю. Как известно, птицы поют усерднее всего именно в ранние утренние часы.

Вот когда я узнал «секрет» моего старика. Сын сумел применить его более чем к месту. Птичьи песни пришли на завод вместе со свободой, с трудом и с новыми, светлыми надеждами на будущее.



СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕРНУШКА. Повесть. Перевод <i>О. Кутасовой</i>	3
ВЕСНА В ЯНВАРЕ. Повесть. Перевод <i>Н. Глен</i>	
Дед Мирю	72
Выдры и филин	77
На охоте	85
Хитрец	94
Гость	101
Лиса с бубенчиком	104
Снег	109
Весна в январе	112
Дикие гуси	117
Красавица дикарка	121
Вешние воды	125
Волчата и щенята	129
Полуденные часы	134
Начальник станции	138
Гужук	144
Олень с перламутровыми рогами	152
Соловей на заводе	156

Для среднего возраста

Станек Эмилиан

ЧЕРНУШКА

Повести

Ответственный редактор *Л. Е. Касюга*

Художественный редактор *С. И. Нижняя*

Технический редактор *Л. П. Костинова*

Корректоры

Л. М. Агафонова и Э. Л. Лофенфельд

Сдано в набор 9/VI 1971 г. Подписано к печати 6/VIII 1971 г. Формат 60×84^{1/8}. Печ. л. 10. Усл. печ. л. 9,33. (Уч.-изд. л. 9,58). Тираж 75 000 экз. ТП 1971 № 520. Цена 45 коп. на бум. № 1. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 2484.

Larisa_F





